

Николай
БЕРДЯЕВ



МЕТАФИЗИКА
ПОЛА И ЛЮБВИ
САМОПОЗНАНИЕ

Николай Александрович Бердяев Метафизика пола и любви. Самопознание (сборник)

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9508062

*Метафизика пола и любви. Самопознание / Николай Александрович Бердяев ; вступ. ст. С. В. Чумакова ; примеч. А. А. Храмова. : Бертельсманн Медиа Москва АО; Москва; 2014
ISBN 978-5-88353-616-7*

Аннотация

В сборник вошли два наиболее известных произведения Николая Бердяева – выдающегося русского мыслителя, последователя Канта, Ницше, Шопенгауэра, одного из ярчайших представителей идеалистической философии. «Человек», «личность», «индивид», «свобода», «Бог» – важнейшие категории философии Бердяева.

Пол и Любовь Бердяев считал главными мировыми вопросами и посвятил им работу *«Метафизика пола и любви»*. Чувственность, как и консервативное стремление к обузданию пола, не имеют ничего общего с Любовью. Институт брака укрепляет лишь любовь родовую, а она метафизически ниже, чем любовь личная. Высшая форма любви – не для продолжения рода. Ромео и Джульетта, Данте и Беатриче не продолжили род. Высшее проявление любви – это отречение от житейского, мистическая тайна двоих.

Работа *«Самопознание»* написана в уникальном жанре философской автобиографии. Бердяев рассказывает о становлении своих философских взглядов, о современниках, о своей яркой жизни: он пережил две революции, русский коммунизм, кризис мировой культуры, две мировые войны; четыре раза сидел в тюрьме, был сослан на север, выслан из России и закончил жизнь эмигрантом-изгнанником, но никогда не порывал внутренней духовной связи с родиной.

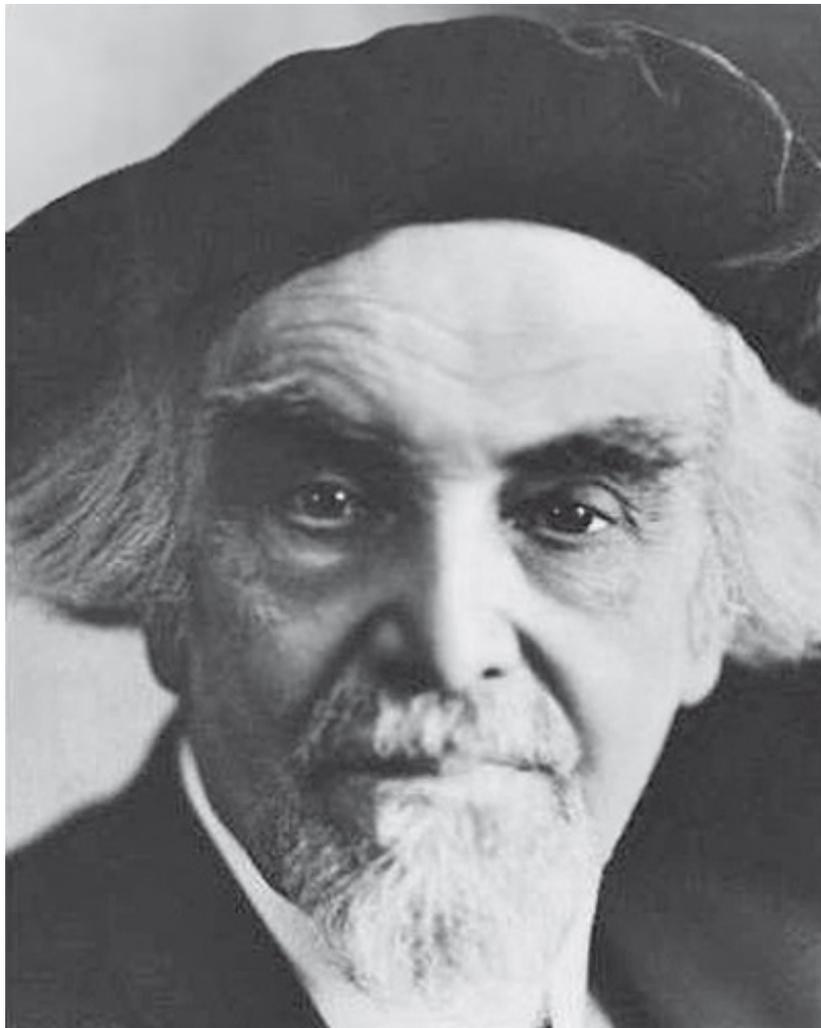
Вечные вопросы, над которыми размышлял Бердяев, – Любовь, Одиночество, Свобода, Бунтарство, Смысл Жизни и его поиски – сегодня актуальны, как никогда, идеи мыслителя оригинальны и современны, его стиль – величайшее явление русского языка.

Содержание

Верующий вольнодумец	5
Метафизика пола и любви[1]	9
Самопознание	28
Предисловие	29
Глава I	32
Глава II	48
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Николай Александрович Бердяев

Метафизика пола и любви. Самопознание



Печатается по изданию:
Бердяев Н. Самопознание: Избранное. – М.: Мир книги; Литература, 2006. – (Серия «Великие мыслители»)

Вступительная статья *С. В. Чумакова*
Примечания *А. А. Храмкова*

В оформлении обложки использовано фото Н. А. Бердяева, 1912 г.

Верующий вольнодумец

За коротким по историческим меркам отрезком времени – между девяностыми годами XIX века и Октябрьским переворотом 1917 года – закрепилась слава Серебряного века русской поэзии. И не только поэзии. Это была пора взлета отечественной культуры во всех ее проявлениях: живописи, ваянии и зодчестве, науке и культуре, общественной мысли. И центр философии, коим традиционно считалась Германия – родина Канта и Гегеля, Шопенгауэра, Ницше и Маркса, – переместился в Россию.

Одним из самых ярких мыслителей XX века, начавшим свой творческий путь в годы «русского ренессанса» и оказавшим значительное влияние на развитие философской мысли в Европе, был Николай Александрович Бердяев (1874–1948).

Будущий, как он себя называл, «верующий вольнодумец» родился в Киеве. По своему происхождению он принадлежал к русской аристократии. Его родители, хотя и жили в провинции, сохраняли обширные связи при Дворе. «Все мои предки были генералы и георгиевские кавалеры. Все начинали службу в кавалергардском полку... Я с детства был зачислен в пажи за заслуги предков». По материнской линии он был в близком родстве с польскими магнатами Браницкими, владевшими на Украине необозримыми угодьями. И Николаю прочили службу в самом привилегированном, лейб-гвардии кавалергардском полку, придворную карьеру. Однако любящие родители не решились отправить сына учиться в Петербург, в Пажеский корпус, а определили в местный кадетский корпус. Друзей в корпусе у Николая не было. Одноклассники относились к нему с завистью и отчуждением. Этот стройный юноша, владевший несколькими иностранными языками, прекрасный наездник, стрелок из револьвера, казался им пришельцем из другого мира. Внешне именно это представлялось причиной отстраненности Николая и даже заносчивости по отношению к сверстникам, будущим офицерам обычных пехотных полков. «На самом деле я никогда не любил общество мальчиков-сверстников и избегал возвращаться в их обществе... И сейчас думаю, что нет ничего отвратительнее разговоров мальчиков в их среде», – писал Бердяев. У него необычайно рано пробудился интерес к философской литературе. Собеседников на отвлеченные темы среди кадетов не было. В четырнадцать лет Николай уже штудировал Канта и Гегеля. Но чтение столь серьезных книг не было схоластическим усвоением чьих-то мудрых мыслей и идей. «Я непрерывно творчески реагирую на книгу и помню хорошо не столько содержание книги, сколько мысли, которые мне пришли в голову по поводу книги» – так описывал Бердяев свою методику чтения философской литературы. Порой это приводило к неприятным последствиям. Например, однажды на экзамене по Закону Божьему он настолько увлекся развитием собственных мыслей, что получил «единицу» при двенадцатибалльной системе оценок.

Николай понял, что военная служба – не для него. Вопреки воле родителей в 1884 году поступил на естественный факультет Киевского университета св. Владимира, через год перешел на юридический. Однако университет не закончил. Юный аристократ увлекся марксизмом, вступил в киевский кружок «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», переправлял нелегальную литературу через границу. Однажды в дом к нему нагрянули жандармы. Делая обыск, «ходили на цыпочках», чтобы не тревожить отца, который был на «ты» с губернатором. Знакомство родителей с сильными мира сего не спасло сына от ареста, отсидки в тюрьме, а затем высылки под надзор полиции в Вологду, где он и пробыл до 1904 года.

В среде ссыльных влияние марксизма было доминирующим. В дискуссионном «клубе» блистали будущие нарком А. Луначарский, эсер-террорист Б. Савинков... Однако именно там начался отход молодого мыслителя от ортодоксального марксизма. Вырвавшись из ссылки, Бердяев в течение нескольких лет наряду с «легальными марксистами» – П. Струве,

М. Туган-Барановским и другими пытался переосмыслить теоретические принципы революционного учения: материализм, диалектику и в особенности материалистическое понимание истории. Но уже в 1906 году Бердяев писал: «Идеализм был хорош для первоначальной критики марксизма и позитивизма, но в нем нет ничего творческого, остановиться на нем нельзя, это было бы нереально и не религиозно». Он становится активным пропагандистом идеологии «нового религиозного сознания», одним из важных постулатов которого стала необходимость духовной реформы православной церкви и христианской религии, ибо они должны соответствовать новой исторической эпохе и новой культуре. Эти идеи отражены в его книгах «Новое религиозное сознание и общественность», «Духовный кризис интеллигенции» и в ряде статей. Он участвует в сборнике «Вехи», вызвавшем бурные дискуссии в среде демократической интеллигенции, резкую критику со стороны «правильных» марксистов. Ленин оценил «Вехи» как «энциклопедию буржуазного ренегатства».

Бердяев становится одним из организаторов и активных авторов философских журналов «Новый путь» и «Вопросы жизни». Он неприменимый участник всех известных петербургских философских собраний. Присоединяется к кругу интеллектуалов, объединившихся в философском салоне писателя С. Мережковского, одного из лидеров российского декаданса, автора ряда исторических романов, проникнутых религиозно-мистическим духом. Он желанный гость на так называемых «средах» одного из самых ярких поэтов Серебряного века Вяч. Иванова, собиравшего в своей «башне» интеллектуальную элиту Петербурга. «В. И. Иванов не только поэт, но и ученый, мыслитель, мистически настроенный, человек очень широких и разнообразных интересов... Всегда было желание у В. Иванова превратить общение людей в Платоновский симпозиум, всегда призывал он Эрос», — вспоминал об этих собраниях Бердяев. Еще одним центром притяжения были «воскресенья» у писателя, публициста, философа, автора парадоксальных эссе, которыми была очень недовольна православная церковь, В. Розанов. Хозяин «воскресений» был противником христианского аскетизма, порой своеобразно трактовал проблемы семьи и пола. И на этих собраниях Бердяев всегда был желанным гостем.

В 1908 году он переезжает в Москву. Здесь он общается с выдающимися философами Е. Трубецким, П. Флоренским и др. Вместе с ними создает религиозно-философское общество памяти Владимира Соловьева. В Москве для Бердяева наступает «время собирать камни». Он систематизирует свои взгляды в книгах «Философия свободы», «Смысл творчества».

В «Философии свободы» писал: «Всякое существо сбрасывает с себя пыль рационалистической рефлексии, касается бытия, непосредственно стоит перед его глубиной, сознает его в той первичной стихии, в которой мышление неотделимо от чувственного ощущения. Смотришь ли на звездное небо или в глаза близкого существа, просыпаешься ли новью, охваченный каким-то неизъяснимым космическим чувством, припадаешь ли к земле, погружаешься ли в глубину своих неизреченных переживаний и испытаний, всегда знаешь, знаешь вопреки всей новой схоластике и формалистике, что бытие в тебе и ты в бытии, что дано каждому живому существу коснуться бытия безмерного и таинственного. Не из мертвых категорий субъекта соткано бытие, а из живой плоти и крови. Вопрос о Боге — вопрос почти физиологический, гораздо более материально-физиологический, чем формально-гносеологический, и все чувствуют это в иные минуты жизни, неизъяснимые, озаренные блеснувшей молнией, почти неизреченные».

Бердяев пришел к пониманию жизни не как воспитанию, борьбе за свободу; к убежденности, что человек есть «микрокосм, потенциальная величина, что в нем все заложено». Он утверждает абсолютную ценность каждого отдельного микрокосма, уникальность, неповторимость личности. По Бердяеву, «весь природный мир есть лишь во мне отображенный внутренний момент совершающейся во мне мистерии духа, мистерии первожизни... мистико-

символическое мирозерцание не отрицает мира, а вбирает его внутрь. Память и есть таинственно раскрывающаяся внутренняя связь истории моего духа с историей мира...».

Он неоднократно подчеркивал взаимосвязь и даже абсолютное единство Бога и конкретной личности, но с оговоркой, что Бог неизмеримо выше человека.

Задолго до 1917 года Бердяев заговорил о фатальной неизбежности революции в России и даже... о ее справедливости, о том, что более всего ответственными за нее будут реакционные силы старого режима: «Я не представлял себе ее в радужных красках, наоборот, я давно предвидел, что в революции будет истреблена свобода и что победят в ней экстремистские и враждебные культуре и духу элементы... Я всегда чувствовал не только роковой характер революции, но и демоническое в ней начало».

Но в среде либеральной интеллигенции мало кто соглашался с ним. Куда больше было сторонников мнения о бескровности (а если крови – то чуть-чуть), гуманности грядущего переворота. События февраля 1917 года – отречение царя, приход к власти Временного правительства, состоявшего в большинстве своем из либералов, вызвали эйфорию в среде демократической интеллигенции. Красные банты украшали и штатские пальто и офицерские шинели. Однако Бердяев испытывал «большое одиночество». Его «очень отталкивало, что представители революционной интеллигенции стремились сделать карьеру во Временном правительстве и легко превращались в сановников». А в октябре 1917 года случилось «фатально неизбежное», о чем предупреждал философ: «Большевики не столько непосредственно подготовили революционный переворот, сколько им воспользовались». Русская революция стала «концом русской интеллигенции, которая ее подготовила. Она ее преследовала и низвергла в бездну. Она низвергла в бездну всю старую русскую культуру, которая, в сущности, всегда была против русской исторической власти». И еще один горький вывод: «Я понял коммунизм как напоминание о невыполненном христианском долге. Именно христиане должны были осуществить правду коммунизма, и тогда бы не восторжествовала ложь коммунизма... Коммунизм был для меня не только кризисом христианства, но и кризисом гуманизма».

В наступившие годы гражданской войны, красного террора Бердяева не покинуло чувство внутренней свободы, независимости и даже храбрости. В обширной квартире профессора, которого пока не решались «уплотнить» новые власти, продолжали висеть портреты предков-генералов в орденских лентах, по вечерам велись острые дискуссии. В 1918 году начала публиковаться в журнале «Народоправство» его новая книга «Философия неравенства». Бердяев писал: «Социальное движение построено исключительно на принципе классово-борьбы, культивирует не высшие, а низшие инстинкты человеческой природы. Оно является не школой самоотвержения, а школой корыстолюбия, не школой любви, а школой ненависти. Снизу идущие исключительно классовые разрешения социального вопроса разрывают единство человеческого рода и разделяют его на две враждебные расы. Это движение понижает психический тип человека. Оно отрицает космический, т. е. иерархический, строй общества. Это революционное разрешение социального вопроса предполагает отрыв от духовных основ жизни и презрение к ним...» Вот как оценил появление «Философии неравенства» близкий по духу Бердяеву писатель Борис Зайцев: «Это книга, написанная против коммунизма и уравниловки с такой яростью и темпераментом, которые воодушевляли... уж очень все собственной кровью написано... замечательная книга». Для автора это была опасная книга. Но он продолжал вести себя независимо. Был избран профессором Московского университета и во время лекций «свободно критиковал марксизм». Организовал «Вольную академию духовной культуры», в которой читались лекции по философии религии и культуры. И здесь всегда «говорил свободно, нисколько не маскируя своих мыслей». Был арестован и посажен во внутреннюю тюрьму ВЧК на Лубянке. Допрашивал «блондин с жидкой, заостренной бородкой, с серыми мутными и меланхолическими глазами». Это

был Дзержинский. Бердяев прямо, без утайки в течение сорока пяти минут объяснял ему, по каким религиозным, философским, моральным основаниям он является противником коммунизма. В 1922 году на печально знаменитом «философском пароходе», вместе со многими выдающимися деятелями русской культуры, был выслан из СССР. Сначала жил в Германии, а затем перебрался в парижское предместье Кламар, где провел всю оставшуюся жизнь.

В эмиграции Бердяев создает Религиозно-философскую академию, руководит журналом «Путь», становится одним из руководителей самого известного эмигрантского издательства «Имка-пресс». «Уже за границей я писал много о коммунизме и русской революции, – вспоминает Бердяев. – Я пытался осмыслить это событие, имеющее огромное значение не только для судьбы России, но и для всего мира. Я сделал духовное усилие стать выше борьбы сторон, очиститься от страстей, увидеть не только ложь, но и правду коммунизма». Около 500 трудов вышло из-под пера мыслителя. В эмиграции он написал лучшие свои произведения, оказавшие заметное влияние на развитие европейской философии: «Смысл истории» и «Философия свободного духа», «О назначении человека», «Дух и реальность», «История и смысл русского коммунизма», «Царство духа и царство кесаря» и др. Бердяев, по его словам, мог работать в любое время и в любом положении: в голод, холод, во время болезни – при температуре 39 градусов... В октябре 1943 года, в оккупированной немцами Франции, всякий день готовый к аресту и высылке в концлагерь за свои антифашистские убеждения, он завершает очередную книгу. Однажды за скудным завтраком сказал жене Юлии Юдифовне, своему верному другу и помощнику (она не раз то ли в шутку, то ли всерьез повторяла: «Моя профессия – жена философа»): «Сегодня я окончил «Русскую идею». Глава первая – кризис христианства, затем главы о страдании, о страхе, о Боге, о бессмертии... Я привык, что когда пишу новую книгу, следующая уже в голове». Так и случилось. Наутро план следующей книги был готов.

Завершающей творческий и жизненный путь Бердяева стала книга «Самопознание», опубликованная уже после его кончины, в 1949 году. Это одно из самых ярких его произведений – сплав жизнеописания и биографии духа, откровенный, честный анализ своего «микрокосма», эволюции своих взглядов.

...За год до кончины, в 1947 году Кембриджский университет избрал Бердяева доктором теологии. Весной того же года он получил сообщение из Швеции о том, что выдвигается кандидатом на соискание Нобелевской премии. Но об этом Бердяев сообщает в «Самопознании» как бы между прочим, вскользь. Ибо 1947 год стал для него «годом мучений о России». С огромным разочарованием он увидел, что после завершения победоносной мировой войны в России «свобода не возросла, скорее наоборот. Особенно тяжелое впечатление произвела история с Ахматовой и Зощенкой». Он с горечью пишет о судьбе своих идей на Родине: «Я очень известен в Европе и Америке, даже в Азии и Австралии, переведен на много языков... Есть только одна страна, в которой меня почти не знают, – это моя Родина».

Знали. Тайком читали! Ныне в России книги Бердяева широко переиздаются. Одной из первых была открыто опубликована философская биография «Самопознание» – полумиллионным тиражом! Она стала как бы ключом к «вратам учености» выдающегося русского философа, публициста, гражданина.

Святослав Чумаков

Метафизика пола и любви¹

I

Вопрос о поле и любви имеет центральное значение для всего нашего религиозно-философского и религиозно-общественного мирозерцания. Главный недостаток всех социальных теорий – это стыдливость, а часто лицемерное игнорирование источника жизни, виновника всей человеческой истории – половой любви. С полом и любовью связана тайна разрыва в мире и тайна всякого соединения; с полом и любовью связана также тайна индивидуальности и бессмертия. Это мучительнейший вопрос для каждого существа, для всех людей он так же безмерно важен, как и вопрос о поддержании жизни и смерти. Это – проклятый, мировой вопрос, и каждый пытается в уединении, тщательно скрываясь, таясь и стыдясь точно позора, преодолеть трагедию пола и любви, победить половое разъединение мира, эту основу всякого разъединения, последний из людей пытается любить, хотя бы позвериному. И поразителен заговор молчания об этом вопросе, о нем так мало пишут, так мало говорят, так мало обнаруживают свои переживания в этой области, скрывают то, что должно было бы получить решение общее и мировое. Это интимный вопрос, самый интимный из всех. Но откуда стало известно, что интимное не имеет всемирного значения, не должно всплывать на поверхность истории, должно таиться где-то в подполье? Отвратительная ложь культуры, ныне ставшая нестерпимой: о самом важном, глубоко нас затрагивающем, приказано молчать, обо всем слишком интимном не принято говорить; раскрыть свою душу, обнаружить в ней то, чем живет она, считается неприличным, почти скандальным. И в повседневной жизни с людьми, и в общественной деятельности, и в литературе приказывают говорить лишь о так называемом общеобязательном, общепольном, узаконенном для всех, принятом. Нарушение этих правил теперь называют декадентством, раньше называли романтизмом. Но все истинно великое, гениальное, святое в жизни человечества было создано интимностью и искренностью, победившей условность, мистическим обнажением самой глубины души. Ведь в интимной глубине души всегда лежит что-то вселенское, более вселенское, чем на общепринятой поверхности. Всякое новое религиозное учение и новое пророчество было сначала интимно, рождалось в интимной глубине, в мистической стихии, а потом обнаруживалось и завоевывало мир. Что могло быть интимнее религии Христа, как неприлично и не общеобязательно было для языческого мира все, что говорил Христос, за Ним следовала небольшая кучка людей, но религия эта сделалась центром мировой истории. Правда, и до сих пор считается не общеобязательным, слишком интимным то, о чем говорил Христос, и до сих пор считается неприятным и неприличным вспоминать Христа и слова Его, когда речь идет о жизненных, практических вопросах. Все творчество культуры есть лишь объективация, мировое обобщение субъективно-интимного, совершавшегося в скрытой, таинственной глубине. Вопросу о поле и любви как-то особенно не повезло, он был загнан в подполье, и только художественная литература отражала то, что накапливалось в человеческой душе, обнаруживала интимный опыт. Видно, были глубокие причины, по которым вопрос этот не мог еще получить универсального решения. Но современный религиозный кризис требует решения этого вопроса; религиозный вопрос ныне тесно связан с проблемой пола и любви. Вокруг пола и любви накопился мистический опыт, который все еще остается хаотическим и нуждается в религиозном освещении. Люди нового мистиче-

¹ Глава из книги, представляющей «опыт религиозной философии общественности».

ского опыта и нового религиозного сознания требуют, чтобы самое интимное было отныне вытеснено на вселенский исторический путь, обнаружено в нем и определило его.

Над Розановым* смеются или возмущаются им с моральной точки зрения, но заслуги этого человека огромны и будут оценены лишь впоследствии. Он первый с невиданной смелостью нарушил условное, лживое молчание, громко, с неподражаемым талантом сказал то, что все люди ощущали, но таили в себе, обнаружил всеобщую муку. Говорят, Розанов – половой психиатр, эротоман. Вопрос скорее медицинский, чем литературный, и я считаю недостойным самый разговор на эту тему, но главное в том, что все ведь люди, все люди без исключения, в известном смысле половые психопаты и эротоманы. Какой-нибудь литературный моралист поносит Розанова за то, что тот так открыто пишет о поле, так много говорит о половом вопросе. Но очень возможно, что этот моралист в литературе в жизни сам помешан на поле, что половой вопрос и для него самый мучительный и основной, что он во много раз более эротоман, чем Розанов, но считает неприличным, неприятным это обнаружить, предпочитает писать о всеобщем избирательном праве, хотя вопрос этот, столь общественный, для него внутренне не интересен, в тысячу раз менее важен, чем вопрос о поле. Это я и называю лицемерием, условной литературной ложью, над которой Розанов мужественно сумел подняться. Розанов с гениальной откровенностью и искренностью заявил во всеуслышанье, что половой вопрос – самый важный в жизни, основной жизненный вопрос, не менее важный, чем так называемый вопрос социальный, правовой, образовательный и другие общепризнанные, получившие санкцию вопросы, что вопрос этот лежит гораздо глубже форм семьи и в корне своем связан с религией, что все религии вокруг пола образовывались и развивались, так как половой вопрос есть вопрос о жизни и смерти. Все люди, я утверждаю, что все без исключения люди в глубине своего существа ощущают то, что Розанов сказал громко, все согласны с Розановым по постановке вопроса (я не говорю о его окончательном решении) и все считают своим долгом лицемерно бросить в него камень. Только тупой или безумный человек может отрицать центральную, религиозную важность проблемы пола; ведь каждый тайно мучился этой проблемой, бился над ее решением для себя, страдал этой мукой полового томления, мечтал о любви, каждый знает ту признанную истину, что все почти трагедии в жизни связаны с полом и любовью. Всем известно, что с полом связана вся наша жизненность, что половое возбуждение носит характер экстатический и творческий. Чем же так смешно или безнравственно «помешательство» Розанова на поле? Правда, ему недостает чувства эстетической меры, но большая часть наших журнальных и газетных обличителей совсем не специалисты по эстетической мере, иначе человечеству грозит гибель от подпольных тайн пола, от внутренней анархии пола, прикрытой внешним над ним насилием. Само появление Розанова – серьезное предостережение. Хаотический пол много бедствий причинил человечеству и готовит бедствия еще большие. Человечество должно, наконец, сознательно и серьезно отнестись к своему полу, к источнику своей жизни, прекратить грязные подмигивания, когда речь заходит о поле.

Христианство не преобразило пола, не одухотворило половой плоти, наоборот, оно окончательно сделало пол хаотическим, отравило его. Демонизм пола есть только обратная сторона христианского проклятия пола. Могущественная половая любовь была загнана внутрь, так как ей отказали в благословении, превратилась в болезненное томление, не покидающее нас и до сих пор. Аскетическое христианское учение допускает половую любовь лишь как слабость греховной человеческой природы. Так и осталась половая любовь слабостью, стыдом, почти грязью. Трагическая христианская вера уже умерла в человеческих сердцах, перестала определять ход европейской культуры, а христианские суеверия относительно пола живут еще, отравляют еще кровь нашу нестерпимым дуализмом. Мы почти примирились с тем, что пол греховен, что радость половой любви – нечистая радость, что сладострастие – грязно, и мы спокойно продолжаем грешить, предаваться нечистым радостям

и грязному сладострастьем, так как нам-де, слабым людям, все равно не достигнуть идеала. Мы стыдимся половой любви, прячемся с ней, не признаемся в своих переживаниях. Поразительно, что антихристианское и антирелигиозное сознание нашего времени близко в иных отношениях, в раздвоенности своей, в ложной аскетичности, к средневековому христианству, хотя бесконечно далеко от Христа и лишено средневекового трагизма. Люди нашего времени не верят в радость небесную и даже не тоскуют по небу, но радость земная, радость половой любви остается у них без благословения. Пол для людей нашего времени так же демоничен, как для людей средневековья. Возьмем для примера хотя бы Пшибышевского, отравленного демонизмом пола, проклятием пола. Да и вся почти новая литература пишет о том, как демоничен пол, как не может с ним справиться современный человек. Поистине, трагедия пола есть самое страшное в жизни, и половая любовь не может быть оставлена на произвол судьбы; она нуждается в религиозном освящении и религиозной организации. Слова Христа о поле и любви остались не поняты, не вмещены, и пол выпал из господствующего христианского сознания, сделался достоянием эзотерических учений. Господствующее религиозное сознание поставило проблему пола в зависимость от вульгарного дуализма духа и плоти, связало ее с греховностью плоти, и это была не только моральная, но и метафизическая ошибка. Ведь плоть столь же метафизична и трансцендентна, как и дух, и плотская половая любовь имеет трансцендентно-метафизические корни². Так называемая христианская семья есть лицемерная ложь, языческий компромисс, подобный христианскому государству. Хаос пола так же бушует под покровом семьи, как он бушевал в крови средневековых отшельников.

Весь Розанов есть реакция на христианскую отраву пола, восстановление первоначальной святости пола. Вне христианства, вне неустанной борьбы с христианским аскетизмом Розанов не мыслит, не имеет *raison d'être*. С полом связана для Розанова жизнь; христианство, враждебное полу, для него – синоним религии смерти и потому ненавистно. Розанов хочет вернуться к тому религиозному состоянию, которое было до явления Христа в мире, к древнеязыческим религиям, к религии рождения, к религии Вавилона по преимуществу. Но он забывает, что не христианство выдумало трагедию пола и трагедию смерти, что явление Христа потому и было неизбежно, что в основе мировой истории лежала эта трагедия, что античный мир с великой своей культурой погиб так трагически, так постыдно выродился. Положительное учение Розанова зачеркивает христианский период истории, как злое недоразумение и бессмыслицу, и зовет назад, к первобытному обоготворению рода. Розанов все еще смешивает пол с родом, видит лишь пол рождающий, не понимает глубокого внутреннего антагонизма между утверждением пола и рождением, не замечает двух стихий в поле – стихии личной и стихии родовой. Вот почему у Розанова нельзя найти творческого решения проблемы пола.

В истории мировой философии я знаю только два великих учения о поле и любви: учение Платона и Вл. Соловьева*. «Пир» Платона и «Смысл любви» Вл. Соловьева – это самое глубокое, самое проникновенное из всего, что писалось людьми на эту тему. Платон жил до явления Христа в мир, но постиг же трагедию индивидуальности, ощутил уже тоску по трансцендентному и прозрел соединяющую силу божественного Эроса, посредника между миром здешним и миром потусторонним. По учению Платона, облеченному в мифологическую форму, пол есть результат разрыва в первоначальной, единой и могучей человеческой природе, распада индивидуальности на две половины, любовь есть томительное желание воссоединения в целую индивидуальность. Платон постиг с гениальной, божественной мощью различие между Афродитой небесной и Афродитой простонародной, любовью божественной, личной, ведущей к индивидуальному бессмертию, и любовью вульгарной,

² См. мою статью «О новом религиозном сознании» из сборника «Sub specie aeternitatis».

безлично-родовой, природной. В Афродите небесной Платона уже чувствуется дыхание христианского Эроса, таинственного и по сию пору, средневекового романтизма и глубочайшего, возможного лишь после Христа учения Вл. Соловьева о любви как о пути к индивидуальному бессмертию. Вл. Соловьев устанавливает противоположность между индивидуальностью и родом. Любовь родовая, рождающая, дробящая индивидуальность, есть для него Афродита вульгарная, подчинение природной необходимости. Истинная любовь всегда лична, завоевывает вечность, индивидуальное бессмертие, она не дробит индивидуальности в рождении, а ведет к полноте совершенства индивидуальности. Во всем вероучении Вл. Соловьева центральное место занимает культ вечной женственности, любви к Богу в конкретной форме любви к «Прекрасной Даме». Отвергая род и рождение, Вл. Соловьев принадлежит новому религиозному сознанию, подходит к новому религиозному учению о любви, но не доходит до конца.

Он наш прямой предшественник.

II

В мире борются два враждебные метафизические начала – личное и родовое. И проблема пола и любви должна быть поставлена в связь с борьбой этих двух начал, ныне обострившейся и обнажившейся. Трудность всех вопросов, связанных с половой любовью, в том и заключается, что в мировой истории половой любви тесно переплетаются два противоположные начала – любовь личная и любовь родовая, сила сверхприродная, божественная и сила природная, эмпирическая связанность. Слишком часто смешивают пол с родом, любовь с родовым инстинктом. Но в роде и родовом инстинкте нет ведь ничего личного, индивидуального, ничего даже человеческого, это природная стихия, одинаковая у всех людей и общая у мира человеческого с миром животным. Любви, как индивидуального избрания, как своеобразного влечения полов, отличающего не только человека от животных, но и каждого человека от других людей, божественного Эроса нет и быть не может в стихии рода. Так называемая родовая любовь и родовое утверждение пола потому унижают человека, что отдают лицо человеческое во власть безличной природной стихии, личность находится тут в обладании разрушающей ее естественной необходимости. Биология устанавливает обратную пропорциональность между рождаемостью и индивидуальностью. Если органические силы идут на продолжение рода, то они естественно убывают для создания совершенной индивидуальности. Эта биологическая истина имеет и более глубокую метафизическую основу. Есть дилемма: или создание совершенной, вечной индивидуальности, или дробление индивидуальности и создание многих несовершенных и смертных индивидуальностей. Человек не в силах стать личностью, индивидуальностью, достигнув совершенства и вечности, и потому как бы передает потомству своему дальнейшее совершенствование, в рождении заглушает муку неосуществленной индивидуальности, непреодоленного разрыва, недостигнутой вечности. Родовая половая любовь дробит индивидуальность, стремится к бессмертию рода, к созданию многих несовершенных существ, а не одного совершенного существа, к плохой бесконечности³, к вечному возвращению. Истинная любовь, преодолевающая пол, должна направить всю человеческую энергию вглубь и вглубь вечности, а не во вне и вперед во времени. С родовым полом был связан этот ложный культ будущего, эта лжепрогрессивность.

Рождение и смерть – одной природы, имеют один источник. Уже Гераклит учил, что Гадес и Дионис один и тот же бог. И рождение и смерть одинаково – продукты мирового распада, дети времени, царства временности в мире. Бытие, отпавшее от своего источника и смысла, делается прежде всего временным, вытягивается в хронологический ряд, в котором

³ Выражение Гегеля.

вечная смена рождения и смерти, плохая бесконечность. Ни одно существо испорченного мира не вечно, все части мира, все состояния мира временны, тленны. Когда сказано было рожать в муках, то этим было сказано и умирать; плодить в мире несовершенство и смерть по закону природной необходимости. Рождение есть уже начало смерти; истина эта подтверждается опытом всей природы и слишком очевидна. Рождение по самому существу своему есть дробление индивидуальности, распадение ее на части, есть знак того, что индивидуальность не может достигнуть совершенства и вечности и как бы предлагает своей части продолжить за нее дело совершенствования, как бы заменяет достижение единого успеха в вечности множественными успехами во времени. Родовое начало и любовь для продолжения рода – продукты смертности и испорченности природы и вместе с тем укрепление и узаконение смертности, торжество закона тления. Родовая половая любовь есть кажущееся, иллюзорное преодоление разрыва полов; единая и полная, совершенная и вечная индивидуальность в ней не достигается. Половое томление в стихии рода делается игрушкой безличной, природной силы, никогда этого томления не разрешающей, а бесконечно продолжающей во времени, в новых и новых формах. Между полом и любовью и родом и рождением существует коренная, не эмпирическая только, а метафизическая противоположность. Утверждать пол в любви – значит утверждать полноту и совершенство индивидуальности, завоевывать вечность, хорошую бесконечность; утверждать стихию рода в родовом инстинкте – значит дробить индивидуальность, завоевывать несовершенное и смертное во времени, плохую бесконечность. Томление пола и тайна любви – в жажде преодолеть трагический разрыв полов, мистическим слиянием достигнуть вечной, совершенной индивидуальности. Совершенная индивидуальность не рождает и не умирает, не создает никаких последующих мигнов. Когда говорят: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!», – то этим хотят сказать, что прекрасное в своем совершенстве не должно рождать чего-нибудь иного, должно остаться навеки таким, что только недостаточно прекрасное и совершенное мгновение должно заместиться другим. Совершенный мир не должен продолжаться в чем-либо ином, не должен ничего рождать, он остается для вечности, остается самим в себе. Все совершенное и безмерно-прекрасное есть достояние вечности, не дробится, не продолжается в рождении из себя несовершенных частей. Родовая половая любовь и есть, применяя терминологию Платона, Афродита вульгарная, простонародная, земная Афродита. И, увы! огромной части человечества знакома только вульгарная Афродита, так как находятся люди во власти рода, природной необходимости, естественного рабства, и сама мечта об Афродите небесной иным кажется почти безнравственной, противоестественной, безумно-романтической. Организовать добропорядочную, половую любовь, хорошо продолжить род человеческий – вот предел желания самых радикальных людей. Люди очень консервативны в вопросе о поле и любви; традиции, старые чувства и инстинкты правят ими, и корень этого консерватизма во власти рода. Позитивисты не знают иной любви, кроме родовой, только пол рождающийся понимают, только об изменении форм семьи заботятся. Теория любви Шопенгауэра, очень близкая к теории Дарвина, есть только выражение консервативной власти рода, играющего людьми, зло иронизирующего над индивидуальностью.

Пол – это то, что должно быть преодолено, пол – это разрыв. Пока остается этот разрыв – нет индивидуальности, нет цельного человека. Но преодоление пола есть утверждение пола, а не отрицание, есть творческое соединение полов, а не отворачивание от полового томления. Нужно утвердить пол до окончательного его преодоления, до исчезновения полов, до соединения в единый дух, в единую плоть. Это, конечно, нельзя понимать так, что каждая монада, мужская и женская, перестает существовать самостоятельно; ей присуще самостоятельное бытие, и она достигает в слиянии полноты. Пол имеет природу духовную и плотскую, в нем скрывается метафизика духа и метафизика плоти. Пол – не физиологической и не эмпирической природы, в нем скрыты мистические глубины. Ведь мистическую диалектику

пола усматривают даже в самой природе Божества. Весь мировой процесс коренится в поле; потому мир сотворился и продолжается, что в основе его лежит пол, что мистическая стихия мира расцеплена, разорвана, полярна. Метафизическая, духовно-плотская полярность наполнила мир половым томлением, жаждой соединения. Полярность эта сказывается и в учении о вечной женственности, женственности мировой души, учении, столь близком христианской мистике, почувствованном уже Соломоном в «Песни песней», основанном в символике Апокалипсиса⁴. Очень характерен чувственно-эротический культ Девы Марии у средневековых мужчин и такой же культ Христа у средневековых женщин. Окончательное преодоление пола, соединение полов есть не только слияние противоположных человеческих половин, но также и слияние с вечной женственностью и с Божеством. Эрос – есть путь к индивидуальности и путь к вселенскости. Но какой Эрос?

Любовь родовая не есть соединяющее утверждение пола, она продолжает лишь дробление. Только личная половая любовь стремится к преодолению разрыва, к утверждению индивидуальности, к вечности, к бессмертию. Это – Афродита небесная. Только личная, внедродовая любовь, любовь избрания душ, мистическая влюбленность и есть любовь, есть подлинный Эрос, божественная Афродита. Личная любовь, Афродита небесная – сверхприродна, объявляет войну смерти и необходимости, она враждебна роду, дроблению индивидуальности, не рождает в своем совершенстве, жаждет индивидуального слияния и вечности, с ней связана тайна индивидуальности и бессмертия. Вл. Соловьев учит, что мистическая влюбленность в высшем своем подъеме не будет вести к рождению, к дроблению, а приведет к бессмертию индивидуальности, она провидит тут биологическое преображение, изменение «роковых» физиологических законов. По Соловьеву, только любовь нуждается в бессмертии, любовь есть высшее содержание жизни, окончательная полнота бытия, действительность индивидуальности. Но Афродита небесная, личная, противоположная роду любовь, – не отвлеченно духовная и бесплотная, она воплощена, полнокровна, конкретно-чувственна в такой же степени, как и духовна. Это признавал и Вл. Соловьев.

Но любовь по природе своей трагична, жажда ее эмпирически неутолима, она всегда выводит человека из данного мира на грань бесконечности, обнаруживает существование иных миров. Трагична любовь потому, что дробится в эмпирическом мире объектов любви, и сама любовь дробится на оторванные, временные состояния. Есть болезнь, которая носит название фетишизма в любви. Об этом явлении говорит и Соловьев в своей статье «Смысл любви». Болезнь эта состоит в том, что предметом любви делается не цельный человек, не живая, органическая личность, а часть человека, дробь личности, например, волосы, руки, ноги, глаза, губы вызывают безумную влюбленность отдельная, отвлеченная от сущности часть превращается в фетиш. При фетишизме ощущение личности любимого теряется, индивидуальности человека не видно. Этой болезнью фетишизма в любви больны в большей или меньшей степени все почти люди нашего времени. Любовь, в которой объект любви дробится и сама она распадается на преходящие миги, всегда есть фетишизм в любви, болезнь нашего духа и нашей плоти. Любовь исключительно плотская, физиологическая, столь пространенная в нашем мире, есть фетишизм, так как в ней нет ощущения полной лично-

⁴ У Вл. Соловьева очень интересна религиозно-философская концепция мировой души как вечной женственности. Против Соловьева можно было бы возразить, что это слишком мужская философия и религия. Для женщин эротическое отношение к божеству должно окрашиваться в цвет культа вечной мужественности. Не обращается ли божество разными своими сторонами к разным человеческим полам. В «Смысле любви» он говорит: «Абсолютная норма есть восстановление целостности человеческого существа, и нарушается ли эта норма в ту или другую сторону, в результате во всяком случае происходит явление ненормальное, противоестественное. Мнимодуховная любовь есть явление не только ненормальное, но и совершенно беспечное, ибо отделение духовного от чувственного, к которому она стремится, и без того наилучшим образом совершается смертью. Истинная же духовная любовь не есть слабое подражание и предварение смерти, а торжество над смертью, не отделение бессмертного от смертного, вечного от временного, а превращение смертного в бессмертное, восприятия временного в вечное. Ложная духовность есть перерождение, спасение, воскресение».

сти, всецелой индивидуальности. Любовь к отдельным сторонам духа и плоти, к оторванным частям, к прекрасным глазам и чувственным губам, к духовному аромату отдельных черт характера или обаянию ума – тоже фетишизм, тоже потеря ощущения личности. Единый объект любви, органический идеал, родная душа, мистически предназначенная полярная половина эмпирически раздробляется: в массе женщин для мужчин, в массе мужчин – для женщин видятся разорванные черты органического объекта – там глаза, здесь руки, там душа, здесь ум и т. д. и т. д. Ведь нужно открыто заявить, что мужчины в известной мере влюблены в слишком многих женщин, женщины – в слишком многих мужчин, все почти во всех почти в известном смысле влюблены, неутолимая жажда мучить людей и любовное томление не имеет предела. В этом нет ничего морально предосудительного, но страшная трагедия скрыта в этой болезни любовного фетишизма, в этом дроблении любви и ее объекта. У каждой души есть своя предназначенная в мире, единственная родная душа, дополнение к цельной индивидуальности, а в здешней жизни душа человека растрчивает свою божественную силу Эроса по миллиону поводов, на неуловимые дробные части ее направляет, практикует фетишизм. Дон-Жуанство и есть потеря личности в любви, сила любви, без смысла любви. Ведь смысл любви (не родовой любви) в мистическом ощущении личности, в таинственном слиянии с другим, как своей родной полярной и вместе с тем тождественной индивидуальностью. Любовь решает то, что немцы называют *Du-Frage*, проблему перехода одного существа к другому и всему миру, выхода из своей ограниченности и оторванности. Этот великий смысл любви разрушается любовным фетишизмом, дроблением, потерей ощущения своей личности и ощущения другой личности. Преодоление фетишизма есть путь к индивидуальному бессмертию, к реально-мистическому ощущению и утверждению личности. Трагически страшна эта уединенность человека от человека, эта пустая бездна между любящими и близкими, это «мы с тобой так странно близки и каждый из нас одинок». Современная литература (с особенной силой – Мопассан) изображает это безумное одиночество человека, этот солипсизм, разрыв с «ты», с реальностями мира. Только сила Эроса может вывести из этого одиночества, но Эроса не дробимого, ощущающего всецелость личности, божественная сила индивидуально-мистической любви. Нужно найти и полюбить свое другое «я», живую, цельную личность, и тогда оторванность от всякой реальности мира уже прекращается. Полюбить нужно не для образования родовой семьи, всегда эгоистически замкнутой, миру противоположной, личность поглощающей, а для мистически-любовного слияния всех существ мира, всех вещей мира.

III

Христос осудил род и родовую любовь, семью и родовой строй жизни, осудил Афродиту простонародную, безличную, природную. Люди не должны соединяться природной необходимостью, связью безлично-родовой, ибо тот брат, и сестра, и мать, кто исполняет волю Отца Небесного. Не в лоне безличной, бессмысленной и насильственной природы должно произойти любовное слияние людей, а в лоне Отца Небесного, где все осмысленно, и индивидуально, и свободно. Христос учил, что дети Божьи должны соединяться не по образу звериной природы, в которой всякое лицо человеческое исчезает, а по образу природы Божьей, в которой лицо и свобода утверждаются. Христос учил о божественном Эросе, об Афродите небесной, которую почувствовал уже Платон, но учение Христа о любви осталось таинственным и непонятным, не «вместилось». Что значат эти странные слова «могущие вместить, да вместит»? Слишком известно, как слова эти были истолкованы ограниченным сознанием исторического христианства. Подумали, что Христос говорил об аскетизме, об отрицании пола и любви, о воздержании, проповедывал скопчество. Этот аскетический подвиг не считали уделом всех людей, не все могли «вместить», а лишь избранные, посвя-

щающие свою жизнь Богу. На почве этого толкования выросли черные цветы средневекового монашества и вся эта мучительная борьба с искушениями Афродиты. Но это толкование слов Христа вытекало из одностороннего характера, который получало христианство в истории, в нем сказалась мистическая вражда к плоти и земле. Христианский аскетизм был антитезисом в мистической диалектике бытия и потому не мог вместить учения о творческой роли Эроса в преображении земли и мировой плоти, о вселенском соединении людей новой любовью. Миссия христианского аскетизма была чисто отрицательная, сознание греховности рода, природы и униженности природно-родовых инстинктов.

Но наступают времена, когда пора уже понять, что значили слова Христа. Не говорил ли Христос о новой любви, об Афродите небесной, о божественном Эросе, который не все могут «вместить». Могущий вместить новую любовь, да вместит ее. Эрос, о котором так таинственно учил Христос, которым хотел соединить людей в Боге, – не родовая любовь, а личная и соборная, не природная любовь, а сверхприродная, не дробящая индивидуальность во времени, а утверждающая ее в вечности. Медленно и незримо вошел божественный Эрос в мир, он преоцущается уже до явления Христа, лишь отчасти в религиозных таинствах язычества, главным же образом Платоном, но и после Христа он не завоевал еще мира, в мире все еще соединялись люди родовой любовью, природной необходимостью или аскетически отрицали пол и отвергали всякую любовь. Ведь христианская любовь не есть альтруизм, выдуманный в XIX веке, не есть буддийское сострадание, в котором ничто положительное еще не утверждается, не есть простой моральный долг по отношению к ближнему. Христова любовь – гораздо большее, несоизмеримо более положительное. Одно несомненно: Христов Эрос есть положительное мистическое влечение, мистическая влюбленность, мистическое радование. Христос не ветхозаветную только заповедь утвердил, но и новую заповедь любви дал, новому соединению учил. Первоначальной христианской общине была знакома радость христианского Эроса, и радость эта знакома всякой подлинной любви, которая всегда есть положительное соединение, а не отрицательное соболезнование. Буддийское и пессимистическое учение о любви как сострадании и жалости в сущности связано с атеизмом, с неверием в радостный смысл мира. Любовь Марии или грешницы ко Христу не была жалостью и альтруизмом, а мистическим влечением и радованием, подлинным Христовым Эросом. Тот же Эрос – в средневековом культе Мадонны, в средневековой влюбленности в Христа, столь, казалось бы, противоположных аскетическому фону жизни. А наша любовь к Богу есть образец всякой любви, так нужно и людей любить. Бога нельзя жалеть, нельзя к нему относиться «альтруистически», и совершенная любовь к людям есть восхищение, любованье, влечение. Любовь к людям, всякая любовь есть лишь эмпирический образ единой любви к Богу, единого божественного восторга и радости, любви к эманулирующей частице Божества. Любовь нарождается, когда начинается восхищение, любованье, когда лицо радуется, влечет к себе, когда прекращается уединенность, оторванность, эгоистическая замкнутость и самодовольство. Альтруистическая мораль, которую нам преподносят вместо Христовой любви, не преодолевает разрыва между людьми, внутреннего распада, она – холодна и мертва, «стеклянная» любовь, по удивительному выражению Розанова. Безличной, заказанной, только человеческой любви не может быть. Христова любовь – это прежде всего ощущение личности, мистическое проникновение в личность другого, узнавание своего брата, своей сестры, по Отцу Небесному. В Христовой любви отношения равные, и ничье достоинство не умаляется. Вместе с тем Христов Эрос связан с полом, этим первоисточником всякого разрыва и всякого соединения. Христов Эрос не бесполой и не бесплотный, не «импотентно-моральный», как выражается Вл. Соловьев, он преображает плоть и преодолевает пол, утверждая его сверхприродно. Могущий вместить, да вместит новую плоть любви, но не настали еще времена для вмещения ее в коллективной жизни человечества. В истории мы видим смесь родовой, безличной любви с бесплотным аскетиз-

мом. Эрос пробивался в виде ручейков, а не большого потопа. Новое религиозное сознание и религиозное творчество связаны ныне с Эросом, с религиозным решением проблемы пола и любви. И остается исходной истиной, что Христос приходил в мир победить смерть, а следовательно, и рождение, утвердить индивидуальность в вечности, а следовательно, отвергнуть дробление индивидуальности в продолжении рода во времени.

Но христианство создало не только монашеский аскетизм, отрицание пола и любви, не только противное духу Христову оправдание родовой семьи, — из христианства вышел романтизм и рыцарский культ Прекрасной Дамы. Романтизм немислим до Христа и вне Христа, хотя условно и говорят о романтизме увядающего античного мира. Романтизм — хранитель личного начала в поле и любви, это начинающаяся новая личная любовь, томление по бессмертной индивидуальности в любви. Новое учение о любви, связанное с новым религиозным сознанием, может искать своих истоков не в безличном аскетизме, а в романтизме. Романтизм уже отрицает род, семью, размножение и ищет личного в любви, жаждет утвердить индивидуальность, томится по бессмертию. В рыцарском культе Прекрасной Дамы, в любви к Деве Марии, прекраснейшей, как бы является уже в мире Афродита Небесная и восстает личность в своей сверхприродной и внеприродной сущности, зародилась новая, невиданная еще, лишь предчувствуемая любовь. Лишь средние века создали культ женственности, чуждой античному миру, поклонявшемуся мужественности. И это был культ вечной женственности — божественного начала, это любовь к Божеству своему в конкретно-чувствительной форме, тут личное сплетается мистически со вселенским. Романтическая, рыцарская любовь в потенции своей есть любовь личная и вселенская и побеждает она родовое начало, враждебное личному и вселенскому. Средние века, вновь ставшие нам родными и понятными, были и самой аскетической и самой чувственной эпохой: аскетическое отвержение земной плоти окрасило небо в чувственно-эротический цвет, отношение к Христу, к Богородице, сами божественные отношения на небе получили половую окраску. Слишком часто забывают, что средневековая религиозная жизнь была полна чувственной красоты, была пропитана Эросом. Средневековый культ Мадонны, образа вечной женственности, был началом невиданной еще в мире любви, это религиозный корень, из которого вырастала любовь к Прекрасной Даме, к конкретному образу божественной силы. Любовь Данте к Беатриче — чудесный факт мировой жизни, прообраз новой любви. В XIX веке подходит на нее любовь Огюста Конта к Клотильде Де-Во. Значение романтизма в истории Эроса в мире тем и огромно, что в нем отрицалось родовое, природно-безличное утверждение плоти в любви и вместе с тем отвергался и аскетизм, отрицающий всякую плоть, всякую любовь. Романтизм полон чаяниями преображения плоти, новой духовной и плотской любви, утверждает высшее божественное достоинство личности. В любовном средстве душ, в индивидуальном избрании, о котором говорит Гёте, совершается как бы слияние с женственной душой мира, интимное, конкретное, чувственное общение с божеством. Романтизм полон предчувствий и предзнаменований, но остается только томлением, в нем нет еще подлинного мистического реализма, так как не настали еще времена для реализации новой, божественной любви в мире, не все еще открылось. И нам нужно теперь не возвращаться назад к романтизму, а идти вперед от романтизма. Но в правде и красоте романтизма нет этого беса земного продолжения и устройства человеческого рода, нет этого рабства у времени, есть могучее устремление к вечности, есть ощущение личной чести и достоинства.

IV

С родовым безразличным половым началом, а не любовью, не Эросом, не небесной Афродитой связаны были все формы семьи, и формы собственности, и все социальные формы соединения людей. Вопрос о поле потому и имеет такое безмерное значение, что

вокруг него, вокруг семейственного пола образовалась и развивалась собственность. Эта нестерпимая власть собственности имеет свой корень в родовом поле. Во имя рода, оформленного в семью, во имя продолжения и укрепления рода накоплялась собственность и развивались ее инстинкты. Это может быть научно установлено, хотя понятие рода я употребляю в более широком смысле и придаю ему метафизический характер. Семья и собственность, тесно между собой связанные, всегда враждебны личности, лицу человеческому, всегда погашают личность в стихии природной и социальной необходимости. Бес родовой необходимости шутит злые шутки над достоинством и честью человеческого лица, подчиняя человека призраку родовой любви. О шутках этих много научно рассказал Дарвин, а метафизически Шопенгауэр. Мне кажется, что научная социология недостаточно еще поняла связь всех социальных форм общезития с родом. Весь этот безличный, давящий механизм социального строя выдуман во имя утверждения рода, к смене рождения и к смерти приспособлен. Семейная ячейка, хотя и не в форме патриархата, как думали раньше, а в формах очень далеких от современной моногамической семьи, есть основа безличной, родовой, необходимой общезитности, из нее развивались сложные формы социального и государственного бытия, столь же безличные. Вопрос о росте народонаселения есть основной социологический и экономический вопрос, а рост народонаселения связан с полом и родовой любовью. Урегулирование роста народонаселения, столь необходимое для экономического благополучия человечества, есть урегулирование пола, есть изменение в стихии родовой любви. Слишком несомненно, что социальный вопрос, так болезненно мучающий нашу эпоху, не может быть решен иначе, как в связи с проблемами пола и любви. Личное начало восстает против рода, против роста народонаселения, против собственности, против семьи, и оставливается наше поколение в мучительном недоумении перед вопросом: может ли быть соединение человечества не в роде, не по необходимости, не безличное соединение, а мистический, сверхприродный организм, возможна ли новая соединяющая любовь, возможно ли превращение человеческого рода в Богочеловечество? Проследим связь социальных проблем с полом и любовью на так называемом «женском вопросе», в такой же мере и мужском.

Ведь женский вопрос, который сейчас рассматривается в связи с социальным, и есть вопрос половой. Женский вопрос решается той или иной метафизикой пола, а социально-экономическая его сторона производна. Эмансипационное женское движение, конечно, включает в себе великую правду, как и всякое движение, освобождающее от рабства. Недостойно спорить о том, что раскрепощение женщины от власти мужа, уничтожение гнетущей зависимости от семьи, высвобождение личности в женщине есть благо и справедливость. Это элементарно, и такая отрицательная постановка этого вопроса мало нас интересует. Пусть женщина будет экономически независима от мужчины, пусть будет ей дан свободный доступ ко всем благам культуры, пусть личное начало в женщине восстанет против рабства семьи, пусть права женщины будут ничем не ограничены, — осуществление всех этих благих свобод не затрагивает сущности женского вопроса, не дает положительного решения. А в женской эмансипации, как она проявляется в современную эпоху, есть и обратная сторона: этому мировому движению присуща ложная тенденция, разрушающая самые прекрасные мечты, мистические грезы о божественном Эросе, об Афродите небесной. Женское движение, несмотря на справедливую свою сторону, в основной тенденции своей направлено против смысла любви, оно проходит мимо глубин пола, создает поверхностное, иллюзорное бытие.

Женское эмансипационное движение покоится на том предположении, что мужчина есть нормальный человек, полная индивидуальность, что он не пол, не половина индивидуальности, что нужно походить на мужчину, чтобы стать человеком. Отсюда следует, что цель женского движения и всякого прогрессивного решения женского вопроса только в том, чтобы сделать из женщины мужчину, уподобиться мужчине, во всем подражать мужчине,

только тогда и женщина будет человеком, полной индивидуальностью. На этом покоится не только феминистское движение в узком смысле слова, но и всякое движение, подчиняющее женский вопрос социальному, по этому шаблону рассуждают и социал-демократы, тоже ведь принимающие мужчину за тип нормального человека. Обезьянить мужчину, стать мужчиной второго сорта, отречься от женского начала – вот в чем полагают честь женщины передовые борцы женской эмансипации. В этом смысле женская эмансипация есть принижение достоинства женщины, отрицание высшего и особого призвания женщины в мире, признание женственности лишь слабостью, недоразвитостью, безличностью и порабощением. Только мужественность признают началом истинно человеческим и высшим, за женственностью же не признают никаких прав, кроме права во всем подражать мужественности, сделаться обезьяной мужского начала. Освобождение женственности понимают как отречение от женственности, как окончательное упразднение женской индивидуальности и женского назначения в мире. Но освобождение слишком дорого стоит, если оно уничтожает то, что должно быть освобождено, – в данном случае уничтожает женщину, женственность как особую в мире силу. И создаются продукты второго и третьего сорта, мир наполнен плохими копиями мужчин, бесполоми существами, потерявшими всякую индивидуальность, подражателями во всем. Конкретный образ вечной женственности искажается все более и более, теряет красоту свою, заражается всеми мужскими пороками, принятыми за человеческие добродетели. В мужской сфере женщина ничего великого до сих пор не создала и никогда не создаст; все, что она делает мужского, носит на себе печать посредственности, среднего качества. К мужской деятельности женщин относятся очень снисходительно, удивляются самому малому; созданное женщиной в политике, в науке, в литературе стараются приравнять к тому, что создает мужчина средних дарований, но подобная снисходительность очень оскорбительна для достоинства женщины. Софья Ковалевская была недурным математиком, как средне-хороший математик мужчина; но она женщина, и потому все удивляются ее математическому таланту: от женщины ничего подобного нельзя было ожидать. Но ведь женщина не ниже мужчины, она по меньшей мере равна ему, а то и выше его, призвание женщины велико, но в женском, женственном, не в мужском. В русском революционном движении женщина играла огромную роль, но потому только, что движение это не было мужской политикой, потому только, что женщина вносила в это движение женственное начало, что-то свое, а не подражала мужчине. Теперь изменился характер движения, мужская политика царит и политическая роль женщины слишком часто становится смешной и жалкой. Все эти девицы из зубоврачебных курсов, потерявшие облик женщины, с истерической торопливостью бегающие на все сходки и митинги, производят отталкивающее впечатление, это существа, не имеющие своего «я», обезьяны, мужчины третьего сорта. Неестественность, надругательство над вечной женственностью – вот в чем осуждение современных эмансипированных женщин, набрасывающихся с подражательным даром на мужские дела. Глаза этих женщин, отрекающихся от начала вечной женственности, слишком быстро становятся подслеповатыми от несоответствующих их назначению занятий, и они надевают очки, превращаются в символ обезьянничества, искажающий природу женщины. Женщина как бы уже не хочет быть прекрасной, вызывать к себе восхищение, быть предметом любви, она теряет обаяние, грубеет, заражается вульгарностью. Женщина не хочет быть прекрасным творением Божиим, произведением искусства, она сама хочет создавать произведения искусства. Это глубокий кризис не только женского бытия, но и всего человеческого бытия, и связан он с крушением родового начала, с обострением проблемы личности.

Родовой быт во всех своих видах и формах видел назначение женщины в рождении детей. С образованием моногамической семьи на основе родовой же призвание женщины полагали в семье, в детях, в воспитании рода. Семейно-родовой взгляд на женщину признает своеобразие женщины и особенность ее назначения, но всегда враждебен личному началу в

женщине, всегда угнетает и порабощает человеческое лицо женщины. Женщина рождает в муках и становится рабой безличной родовой стихии, давящей ее через социальный институт семьи. Семья калечит личность не только женщины, но и мужчины, так как представляет интересы рода и родовой собственности. Родовая семья – могила личности и личной любви, в среде этой чахнет Эрос. Личность восстала, наконец, против рода и семьи, против природного рабства, закрепляемого рабством социальным, но сознание личности осталось неясным, ощущение личности приняло ложное призрачное направление. Женщина справедливо пожелала стать личностью, человеком, а не орудием родовой стихии, не рабой безличной семьи. Но где искать утверждение личности, где человек? Полной человеческой индивидуальности нет, пока не преодолен пол; от решения проблемы пола, от соединения полов, половинок зависит судьба личности. Нельзя стать личностью, осуществить индивидуальность по ту сторону вопроса о поле и любви. Мужчина не только не есть нормальный тип человека, но и вообще не человек еще сам по себе, не личность, не индивидуальность без любви. Мужчина только пол, половина, он продукт мировой разорванности и разобщенности, осколок цельного бытия. И женщина – пол, половина, тоже осколок. Относительно женщины это достаточно признано, но выход из этого полового, половинчатого, разорванного состояния почему-то видят в том, чтобы превратить женщину в мужчину, уподобить ее мужчине, то есть тоже половине, части человека. Желание походить на мужчину и есть ложное ощущение личности в женщине⁵. Эта ложная тенденция видит утверждение личности в бесполости, в уничтожении половой полярности, в как можно большем сходстве между мужчиной и женщиной. Передовое сознание нашего времени думает, что быть личностью значит быть бесполом, не быть ни мужчиной, ни женщиной, потерять ощущение половой разорванности и полярности. Сознание это целиком пребывает в старых категориях родового утверждения пола или аскетического его отрицания. У современных прогрессистов мы встречаем странную смесь утверждающегося родового инстинкта с половым аскетизмом, но Эроса божественного, но Афродиты небесной не видим. Что случилось с платоновским учением о любви, со средневековым культом вечной женственности, с рыцарским поклонением Прекрасной Даме, с грезами романтиков? Кто разгадал Эрос христианский? Мы видим старую силу родовой семьи, под которой погребено было человеческое лицо, и новую силу женской эмансипации, искажающей саму идею личности и приходящей с закрытыми глазами мимо вопроса о поле и любви. Пол по-новому нужно утверждать, чтобы преодолеть его, чтобы прийти к соединению в полной, цельной индивидуальности.

В Боге вечный образ человеческого лица, индивидуальности, занимающей свое место в мистической иерархии, а в мире, отпавшем от Бога, все разорвано, разъединено, отвлечено и нет осуществленной личности. Половая полярность есть основная форма разъединения, потери личности, и половое слияние есть основная форма соединения, утверждения личности. Но мистическая тайна полового соединения в том и заключается, чтобы не попасть в рабство безликого родового инстинкта, не поддаться хитрости греховной природы, а найти органическое дополнение к своему вечному образу в Боге, осуществить в любви идею Божью, то есть индивидуальностью, завоевать бессмертие. Это глубже всех понял Вл. Соловьев, но не все отсюда сделали выводы⁶. Мистический смысл половой любви повелевает не механически уравнивать и уподоблять мужчину и женщину, а, наоборот, высвободить и утверждать начало мужественности и начало женственности и искать личности в слиянии и взаимном дополнении этих полярных начал, тяготеющих друг к другу. Половина не может стать целым, сделать женщину мужчиной или наоборот и таким образом реализовать личность. Бесплодие и отрицание женственности, как особого, имеющего свое назначение

⁵ С ложным ощущением личности связано также превращение мужчины в женщину. И тут скрывается кризис рода.

⁶ К этому взгляду был близок Рихард Вагнер.

начала, есть путь к обезличиванию, и на пути этом индивидуальность никогда не будет найдена.

Женщина, в полярной своей противоположности мужчине, имеет свое индивидуальное призвание, свое высокое назначение. Призвание это я вижу не в рождении и вскармливании детей⁷, а в утверждении метафизического начала женственности, которое призвано сыграть творческую роль в ходе всемирной культуры, в осуществлении смысла всемирной истории. В охранении своеобразной силы женственности – честь и достоинство женщины, равное чести и достоинству мужчины. Равенство мужчины и женщины есть равенство пропорциональное, равенство своеобразных ценностей, а не уравнение и уподобление. Ведь могут быть равны по достоинству и по величию философская книга и статья, научное открытие и картина. Назначение женщины – конкретно воплотить в мир вечную женственность, то есть одну из сторон божественной природы, и этим путем вести мир к любовной гармонии, к красоте и свободе. Дело это не меньше и не хуже всех мужских дел. Женщина должна быть произведением искусства, примером творчества Божьего, силой, вдохновляющей творчество мужественное. Быть Данте – это высокое призвание, но не менее высокое призвание – быть Беатриче; Беатриче равна Данте по величию своего призвания в мире, она нужна не менее Данте для верховной цели мировой жизни. Сила женственности играла огромную, не всегда видимую, часто таинственную роль в мировой истории. Без мистического влечения к женственности, без влюбленности в вечную женственность мужчина ничего не сотворил бы в истории мира, не было бы мировой культуры; бесполое всегда бессильно и бездарно. Мужчина всегда творил во имя Прекрасной Дамы, она вдохновляет его на подвиг и соединяет с душой мира. Но Прекрасная Дама, вечная женственность, не может оставаться отвлеченной идеей, она неизбежно принимает конкретную и чувственную форму. Без начала женственности жизнь превратилась бы в сухую отвлеченность, в скелет, в бездушный механизм. Женщина, осуществляющая свое женственное назначение, может сделать великие открытия, которые не способен сделать мужчина. Только женщине могут открыться некоторые тайны жизни, только через женщину может приобщиться к ним мужчина. Пусть женщины плохие математики и логики, плохие политики и посредственные художники, в них таится мудрость высшая, чем всякая математика и политика. Без начала женственности, без приобщения к нему никогда не достигнуть окончательного интуитивного знания и затрудняется путь к церкви как Невесте Христовой. Подобно тому, как Дева Мария оказалась восприимчивой к Духу Божьему, и женственная мировая душа отдастся Божественному Логосу и станет церковью. Вне соединения с женственностью никогда мужчина не постигнет тайну индивидуальности и всемирного слияния в любви. Во все сферы жизни, во все сферы творчества женщина может и должна внести свое животворящее, преображающее свое начало, она изменяет бытие не посредственными мужскими делами, а первоклассными женскими делами. Пусть женщинам будет открыт доступ во все сферы жизни, ко всем благам культуры, пусть она будет образованна, как мужчина, пусть ей будут даны политические права, если она их добивается⁸, но да и поймет она свое призвание, как обезьянничество, как простое подражание во всем мужчине, как уничтожение всех качества пола, да внесет она во все сферы жизни свое, божественной силой женственности преобразит будни жизни, прозаичность мужских дел. Быть может, свободное вступление женщины, раскрепощенной от родового рабства, на поверхности жизни освободит и нас от власти этой самодовлеющей, призрачной политики, доводящей до извержения, от гнета жизненного позитивизма. Женское вмешательство в политику есть ограничение власти политики; тогда только начало женственности

⁷ Этим нисколько, конечно, не отрицается обязательность заботы о существующих детях.

⁸ Я придаю мало значения вопросу об избирательных правах женщин и не люблю женской политики, но думаю, что нельзя насильственно препятствовать женщинам добиваться прав.

становится оригинальным и творческим. Мужчина должен ждать от женщины большего, чем простого ему подражания, он ждет от нее освобождения от мужской отвлеченности, односторонности, оторванности. Не амазонкой, обоготворяющей женское начало, как высшее и конкурирующее с началом мужским, должна войти женщина в новый мир, не бесполой посредственностью, лишенной своей индивидуальности, и не самкой, обладающей силой рода, а конкретным образом вечной женственности, призванной соединить мужественную силу с Божеством. Нет ничего отвратительнее женского демонизма, мужской злобы и мужского самолюбия в женщине, самообожания, вносящего в мир раздор и вражду. Злая борьба между женщиной и мужчиной за преобладание, злобная вражда в самой любви, отравляющая основы пола, может быть прекращена лишь восстановлением религиозного смысла любви. Не в современном, прогрессивно-эмансипаторском отношении к женщине нужно искать искры Божьей, а скорее в отношении рыцарском, полном великих предчувствий. Социальные реформы и перевороты не только не решают женского и полового вопроса, но и проходят мимо самой сущности вопроса, затрагивают лишь чисто внешнюю, нейтральную среду. Экономическое освобождение женщины прекрасная вещь, как и раскрепощение семьи, но в существе своем женский вопрос есть половой вопрос, он решается лишь в связи с метафизикой пола.

V

Тайна рождения может быть хоть сколько-нибудь постигнута, если допустить предсуществование человеческих монад. Вечность, которую мы философски и религиозно прочтем человеческой индивидуальности, не может иметь начала в здешней эмпирической жизни, вечное не могло создаться во времени, не могло зачатся в том биологическом факте, который мы здесь называем рождением. Человеческое существо, как и всякая индивидуальность в мире, есть предвечно эманулирующая из Божества монада, предвечно пребывает в Боге, абсолютно существует, творческим актом Бога создается в вечности, до времени. Рождение, как и смерть, есть лишь эмпирическая видимость, лукавая игра греховной, оторванной от Бога природы. Рождение и смерть – это не начало и не конец, как хочет убедить нас природная необходимость, а переселение из иных миров и в иные миры. Время есть дитя предмирного грехопадения, и вошла во времени стихия рода, вытянула в хронологический ряд предвечную иерархию индивидуальных монад. Рождение, как и смерть, – во власти времени, произошли от греховности. Цель мирового процесса – последовательный во времени ряд существ, рождающихся и умирающих, ввести в вечность, преодолеть рождение и смерть, закрыть окончательно двери к временному, несовершенному миру, к искушению дьявольской природы. Между миром трансцендентным и миром имманентным нет пропасти и противоположности, это один и тот же мир, но в разных состояниях – состоянии совершенства и состоянии испорченности. Пол есть окно в иной мир, любовь – окно в бесконечность. И не затаилось ли в сладострастии пола томление по иным мирам, жажда разбить эмпирические грани? Только жажда эта часто не разбивает эти грани, а скрепляет их еще более.

Сладострастие вовсе не есть физиологическое состояние, которое вызывает к себе отрицательное отношение у людей, настроенных спиритуалистически, и отношение положительное у настроенных материалистически. Есть сладострастие плоти и сладострастие духа, и всегда оно лежит глубже эмпирических явлений, всегда есть ощущение в известном смысле трансцендентное, выводящее за грани. Аскетическое морализование над стихией сладострастия поистине жалкое производит впечатление, нельзя справиться с могуществом этой стихии никакими императивами. Если признать греховным всякое сладострастие, если видеть в нем только падение, то нужно отрицать в корне половую любовь, видеть сплошную грязь в плоти любви. Тогда невозможен экстаз любви, невозможна чистая мечта о

любви, так как любовь сладострастна по существу своему, без сладострастия превращается в сухую отвлеченность. Опыт отвержения всякого сладострастия, как греховного, был уже сделан человечеством, этот опыт дорого стоил, он загрязнил источники любви, а не очистил их. Мы до сих пор отравлены этим ощущением греховности и нечистоты всякого сладострастия любви и грязним этим ощущением тех, кого любим. Нельзя соединить чистоту и поэзию этой жажды слияния с любимым с ощущением греха и грязи сладострастия этого слияния. Вопрос о сладострастии иначе должен быть поставлен, пора перестать видеть в сладострастии уступку слабости греховной человеческой плоти, пора увидеть правду, святость и чистоту сладострастного слияния. Не только аскеты средневекового духа, но и аскеты гораздо менее красивого, позитивного и бескровного духа наших дней боятся сладострастия, как «черта», и предаются ему, как тайному пороку. От этой условной лжи, потерявшей уже всякий высший смысл, мы должны, нравственно обязаны освободиться. Нужно восстать против лицемерия, связанного с половым сладострастием. Слишком уже становится очевидным для людей нового сознания, что само сладострастие может быть разное, может быть дурное и уродливое, но может быть хорошее и прекрасное. Может быть сладострастие, как рабство у природной стихии, как потеря личности, не может быть и сладострастие, как освобождение от природных оков, как утверждение личности. В первом случае человек является игрушкой, орудием стихии рода, греховной природы, во втором – оно лицо, дитя божественной стихии Эроса. Есть сладострастие личное, экстаз слияния в высшую индивидуальность, мистическое проникновение в «ты», в личность другого, своего родного, своего предназначенного. Экстатическое сладострастное переживание не всегда есть потеря своего человеческого «я», подчинение его безличной звериной природы, но есть также и приобщение к природе божественной, окончательное нахождение в ней своей личности. Есть сладострастие Афродиты простонародной, но есть сладострастие и Афродиты небесной. Только при допущении праведного сладострастия может быть речь о смысле любви, могут оказаться чистыми чаяния любви. Всякий экстаз сладострастен, и элемент сладострастия был во всех религиозных таинствах. В окончательном слиянии полной и вечной индивидуальности с космосом будет то экстатическое блаженство, которое есть и в слиянии полов. Но страшен соблазн видеть источник экстаза в чисто физических, механических возбуждениях, как это часто бывало в язычестве. Экстаз есть влияние благодати на душу и тело человека, искупление тела⁹. Сладострастие грязное, злое, греховное есть результат дробления личности, превращения оторванной части человеческого существа в целое, есть обращение с личностью человеческой как с простым средством, есть отсутствие личного самоощущения и ощущения другой личности. В натуральной стихии рода есть вечный соблазн безличного сладострастия, противоположного Эросу; сладострастие без благословения любви есть грех, унижение своей и чужой личности. Грязно и греховно делать человека простым орудием своего естественного наслаждения, а не путем слияния с высшей природой. Демонизм сладострастия, связанный с потерей личности и сомнением личности, давит современное поколение, выявляется новой литературой и искусством, и нельзя спастись от этой болезни старой моралью, аскетизмом или замалчиванием и игнорированием остроты вопроса.

Самый острый, трудный вопрос: как утвердить не только духовную, но и плотскую любовь, не безличное, родовое, природно-звериное слияние, а и личное, индивидуальное, сверхприродное. Мы подходим к чему-то трудно выразимому словами, к области неизреченного, лишь в мистическом опыте постижимого. Это связано с одухотворением и преображением плоти. Вл. Соловьев уже понимает, что мистическая любовь не ведет к рождению, что плотская ее сторона не есть естественный процесс родового инстинкта, что тут что-то новое входит в материю мира. Так называемые «противоестественные» формы любви и полового

⁹ В таинствах Диониса не было еще настоящей благодати и многое шло снизу, а не сверху.

соединения, приводящие к негодованию ограниченных моралистов, с высшей точки зрения несколько не хуже, иногда даже лучше форм так называемого «естественного» соединения. Ведь с религиозной точки зрения, да и с философской, вся природа противоестественна, ненормальна, испорчена, и послушание природе и ее законам необходимости не есть мерило добра. Я не знаю, что такое нормальное естественное половое слияние, и утверждаю, что никто этого не знает. Гигиена очень полезная вещь, но в ней нельзя искать критериев добра и красоты, нельзя искать этих критериев и в фикции «естественности», сообразности с природой. «Естественных» норм нет, нормы всегда «сверхъестественны». Мистическая любовь всегда покажется этому миру «противоестественной». Любовь в пределах одного и того же пола есть симптом глубокого кризиса рода, и критиковать ее можно лишь с той точки зрения, достигается ли этой любовью подлинное бытие, осуществляется ли «смысл» любви. Рационально морализовать над тайной пола очень трудно и не всегда морально, очень легко можно попасть в лапы злой и коварной стихии рода, послужить не Богу, а враждебной Ему природе, принявшей обличие морального благообразия. Не «естественно» нужно соединяться полам, по законам природы и рациональной морали, а «сверхъестественно», по божественным законам преображения плоти. Слово «сверхъестественно» я не в шутку употребляю, а действительно думаю и верю, что из природного мира может быть выход в сверхприродное, и в этом, полагаю, сущность религиозной мистики. Всякая любовь и половая любовь есть сфера религиозной мистики по преимуществу. Мы упираемся в этой сфере в тайну и таинство. Брак есть великое таинство, соединяющее с Богом. Так смотрели все религии. Проповедь естественной морали или моральной естественности посвящает на религиозное таинство брачной любви.

Плоть метафизически равноценна духу, и плотское в любви равноценно духовному. Это прежде всего должно быть установлено. Как я не раз уже говорил, плоть не есть физическое явление, не есть материя, исчерпываемая физическими и химическими свойствами, плоть так же метафизична, мистична, как и дух, плоть не есть подчинение природе, естественной необходимости, хотя явления плоти могут оказаться таким подчинением, как и явления духа. Трансцендентные, посторонние корни плотской жизни видны религиозному и философскому сознанию. И плоть любви не есть физика и химия, не исчерпывается физиологическим процессом, хотя может попасть в рабство (и слишком часто попадает) к природной необходимости. Плотское любовное слияние есть по смыслу своему преодоление эмпирических граней человеческого существа, жажда победить препятствие, поставленное природной необходимостью, победить естественность разделения. Сладострастное томление есть, быть может, корень жажды победить в мире разделение, непреходимость граней между людьми, есть мистическое предчувствие блаженства всеобщего слияния в Боге. Но страшной ошибкой было бы строить мистическое слияние по образцу отвлеченно-физического. Преображение природы, победа над безличными инстинктами достигается индивидуализированием любовного влечения, усилиями найти лицо, ощутить в слиянии образ, начертанный в Боге, не допустить превращения своей личности и личности другого в простое орудие рода. Индивидуализированная любовь, которую только и можно назвать Эросом, есть самый тонкий продукт мировой культуры, есть уже исход из природной необходимости. История Эроса в мире имеет мало точек соприкосновения с историей семьи. Уже в Греции любовь возникла и развивалась вне форм семейного, то есть родового, соединения полов. И в средние века рыцарская любовь, единственно истинная любовь, существовала вне форм семьи, «прекрасная дама» никогда не бывала женой, признанной институтом семьи. В новое время семья слишком часто признается могилой любви, и Эрос поселяется в романтике свободной любви, нередко, впрочем, вырождающейся в пошлость и адюльтер. Эрос входит в мир незримыми, не официальными, противозаконными и противоестественными путями; индивидуализированная любовь, Богом указанное избрание, с великим трудом побеждает

природу и подготавливает ее преобразование. Только такая любовь может быть основой таинства брака, которого нет в официальной семье и в установлениях официальной церкви. Брак – таинство и потому уже не может быть союзом юридическим.

VI

Нужно установить три типа любви: 1) Эрос в собственном смысле слова, половое индивидуальное избрание, слияние начала мужественного с вечной женственностью в Богом предназначенном конкретном образе; 2) мистическое влечение к ближнему и родному, к брату и сестре во Христе, радостное слияние в Богочеловеческом теле; 3) ощущение личности каждого существа, далекого, даже врага и любовное уважение к потенции образа Божьего, обращение с каждым человеческим лицом как целью в себе, а не средством. Все три степени любви – суть лишь конкретизации и индивидуализации единой любви к Богу, к общей божественной природе в людях, во имя которой только и возможно вселенское братство и любовное слияние всех тварей. И в любимой женщине, и в брате по духу, и в каждом существе человеческом мы любим образ Единого, Вечного, самого любимого. Христос есть Божественный Эрос, воплощенный в человечестве, источник всякой любви, божественная связь всех разрозненных и уединенных частиц мира. Любовь и есть свободно-божественная, сверхприродная сила соединения, которую только и можно противополжить природной необходимости, естественной силе связанности и скованности. Три ступени любви – это лестница восхождения к Богу, путь слияния с мировой душой. Первая формула любви – индивидуальное половое избрание и слияние есть самая высшая форма, самая полная любовь, в которую все другие формы входят, как составные части, это любовь экстатическая и блаженная в истинных своих проявлениях, типический образ всякого влечения и соединения. Любовь – это тайна двух, тайна брачная. Говорю, конечно, об Афродите небесной, а не вульгарной, в здешнем мире царящей. Высшая форма любви не есть любовь бесполоая, бесплотная, не есть высушенный долг и моральная отвлеченность, в основе ее лежит мистическая чувственность, непосредственная радость касания и соединения. Вторая форма любви и есть то, что называют обыкновенно христианской любовью, это любовное братство во Христе, тут есть тоже элемент избрания и индивидуализации, есть плотское в широком смысле этого слова единение (в теле богочеловечества); в основе ее тоже лежит начало личности. Христианская братская любовь не есть отвлеченное, безличное чувство в духе альтруизма XIX века, а также радостное влечение, как и влюбленность, она более всего приближается к любви брачной, в ней есть и плотская сторона, так как должна соединить она человечество в единое тело. Это индивидуализированное влечение второй степени, переход от соединения двух к соединению всех. У хлыстов, несмотря на явный их уклон к язычеству, а иногда и демоническое подчинение духа безличной физической плоти¹⁰, есть что-то верное, хотя и искаженное, более верное, чем это высушивание христианской любви и превращение ее в моральный долг, никогда ведь нас ни с чем не соединяющий. Наконец, третья, самая несовершенная форма любви, направленная на всех людей без исключения, самых далеких, самых немилых, есть узнавание и в них любимой, божественной природы, влечение к вечному образу каждого существа в Боге, признание в каждом далеком потенции близкого.

По мере расширения круга Эрос становится все более отвлеченным, безличным и бесплотным, но никогда не может превратиться в сухой, выдуманный альтруизм, в выполнение мучительного предписания. Всегда ведь остается живым конкретным объектом любви существо абсолютное. Любовь к дальнему, о котором много говорили под влиянием Ницше, и есть любовь к Богу, к безмерно-ценному. Нельзя любить всех людей без различия, это тре-

¹⁰ Демонизм я вижу в попытке вызвать благодатное схождение Св. Духа механически-природным путем.

бование не только невыполнимое, но и несправедливое, тут много индивидуальных градаций и три основных степени любви.

Но, любя Бога, можно любить весь мир, всю природу, всякую травку и былинку, видеть во всем отблеск Божества и высший смысл. Такое эротическое отношение к миру было отчасти у Франциска Ассисского. Совершенный мир, каким он должен быть по мысли Божьей, весь достоин любви, в нем все прекрасно, все вызывает к себе непреодолимое влечение, и мистическая тайна любви в том и заключается, что любовь есть сила, проникающая в этот мир, что она всегда направлена на Божественно-прекрасный мир. Нельзя любить испорченность мира, нельзя восхищаться гнилью и смрадом, нельзя влечься к уродству, но можно и должно прозревать за эмпирической испорченностью и изуродованностью мир вечной, божественной красоты и ее любить безмерно.

Последний суд принадлежит только Богу, человек же никогда не может осудить тварь Божью, как погибшую окончательно, и поэтому должен любить потенцию спасения.

Любовь есть сила, преображающая мир, освобождающая от призраков тления и уродства. И покрытое проказой лицо любимого существа можно силой любви увидеть в свете преображенном, прозреть чистый образ этого существа в Боге. С лица этого мира спадет проказа от силы любви. Познавательная любовь к Богу у Спинозы, *amor Dei intellectualis*, выражала только часть истины, но и этот мудрец уже понимал, что только любовью заслуживается бессмертие, что только в любви к Богу мир преображается. А нам все предлагают любить смрадное и уродливое, повинуюсь отвлеченному долгу, сделать из заповеди любви мучение вместо блаженства, и мы ничего не любим, все для нас стало уродливым и смрадным, мы ищем в оторванных кусках достойных предметов любви и не способны прозревать божественную красоту мира, соединенного Эросом.

И романы людей современной эпохи стали уродливо-пошлыми, и альтруистические упражнения в любви – жалки и беспочвенны.

Эросом связан всякий экстаз и вдохновение, всякое творческое преображение жизни. Индивидуальная половая любовь есть осуществление вечного индивидуального образа в Боге, достижение полноты для каждой половины, но и всякая иная любовь (не родовой, конечно, инстинкт) есть прозрение в этот индивидуальный образ.

Полное осуществление царства любви, высочайшее воплощение Эроса в мировой жизни возможно лишь в теократии, в царстве Божьем и на земле, как и на небе; царство Божье и есть царство любви, связь мировых частей, основанная на мистически-свободном влечении, а не на насилии и принуждении. Все органические ростки истинной любви ведут к теократии, всякая истинная любовь есть уже зачинающаяся теократия. Тайнство брачной любви и не только брачной любви двух полов, но и всех существ мира, соединяющихся в тело богочеловеческое, совершается в мистической церкви Христовой, совершалось в истории мира скрыто, когда не могло еще совершаться открыто. И не есть ли совершающаяся тайна истинной любви таинственное вхождение в мистическую церковь, не имеющую еще эмпирически видимых очертаний. Мы жаждем снятия с пола старого проклятия, жаждем освящения любви, то есть введения ее в сферу теократии. В теократии только может явиться новая плоть любви, сверхприродная плоть. Только религиозно можно преодолеть демонизм пола, злое сладострастие, разрушающее личность, демонический эротизм, поддерживаемый ограниченным аскетизмом исторического христианства, только религиозно можно преобразить природу, освободить от родовой необходимости и родовых инстинктов, которые старым христианством поддерживались. Но страшно важно понять путь к теократической любви не механически, а органически. Не искусственный колпак церковности должен накрывать пол и любовь и этим освящать их и проклинать все, что не попадает под колпак, а из мистической глубины природы человеческой должна вырастать любовь, соединяться с религиозным сознанием и выявляться сокрытая в глубине церковь. Да будут благословенны орга-

нические ростки жизни, свободное вращение в мистическое тело церковности! Во всем прежде всего должна быть свободная органичность, а не насильственная и искусственная механистичность! Об этом я буду говорить особо. Нужно победить род, безличную семью индивидуальной мистической любовью, преодолеть пол, разрыв, мистическим и духовным слиянием и проникновением в индивидуальный образ, утвердить индивидуальность бессмертной любовью, — основой соединения мира в Боге. Теократия и есть окончательное осуществление любви всех индивидуальностей, окончательное освобождение от безличной власти природы, последнее торжество Афродиты небесной.

Религиозное отвержение рода и родовой семьи, мистическое преодоление рождения не решает еще сложной распри отцов и детей, так обострившейся в последнюю эпоху. Древняя заповедь «чти отца твоего и мать твою», равно как и обязанность родителей заботиться о детях, остаются навеки в силе. Это истинно вне всяких форм семьи и вне утверждения или отрицания рода, так как между родителями и детьми остается некоторая мистическая связь. Особенно неблагородно современное нигилистическое отношение детей к отцам, неуважение к старости. Эта неспособность увидеть человеческое лицо и в старости, этот взгляд на стариков, как на простое средство, коренятся в безрелигиозности эпохи, в отрицании трансцендентного смысла жизни и безусловного значения личности. Старые имеют не меньшую ценность, чем молодые, для них все уходит в жизни, и последние дни их будут скрашены. Всегда считалась признаком рыцарского благородства защита стариков, равно как детей и женщин. Только утилитарное бесстыдство, столь теперь распространенное, изгоняет стариков из жизни за ненужность. Что касается любви к детям, то она есть сама природа. Слова Христа, осудившие родовую связь по Духу, не были отменой старой заповеди, а лишь открытием истины еще более важной и высшей.

Мы видели уже, что «социальный вопрос» связан с полом и любовью. Все новая и новая постановка социального вопроса коренится в росте народонаселения, то есть в рождении, в антагонизме между личностью и родом, в необходимости преодолеть хаотическое разъединение. Гармонизация хаотической половой жизни, подчинение этой стихии высшему смыслу будет иметь большое значение для решения социального вопроса, относительного, конечно, решения, так как абсолютное решение эмпирически немыслимо. Социально необходимы не только развитие материальной культуры, не только распределительная справедливость, но и регулирование роста народонаселения, то есть рождаемости. Изменение же рождаемости связано с переворотом в мистике пола. Отсюда уже пойдут и изменения в собственности, образовавшейся вокруг рода и во имя рода. Вопрос о любви и поле лежит внутри всякой общественности, составляя интимную ее сущность, так как вопрос об общественности есть вопрос о личном и свободном, а не родовом и необходимом соединении людей. Тайна общественного, свободного соединения только в любви, а высшая форма любви есть любовь половая, Эрос — то, что Платон называл Афродитой небесной. «Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (I посл. Иоанна).

Приводится по изданию:

Журнал «Перевал», 1907, № 5, с. 7—16, № 6, с. 24—36.

Самопознание

Предисловие

Книга эта мной давно задумана. Замысел книги мне представляется своеобразным. Книги, написанные о себе, очень эгоцентричны. В литературе «воспоминаний» это часто раздражает. Автор вспоминает о других людях и событиях и говорит больше всего о себе. Есть несколько типов книг, написанных о себе и своей жизни. Есть, прежде всего, дневник, который автор вел из года в год, изо дня в день. Это очень свободная форма, которую сейчас особенно любят французы. «Дневник» Амиеля* – самый замечательный образец этого типа, из более новых – *Journal** А. Жида. Есть исповедь. Блаженный Августин и Ж. Ж. Руссо дали наиболее прославленные примеры. Есть воспоминания. Необъятная литература, служащая материалом для истории. «Былое и думы» Герцена – самая блестящая книга воспоминаний. Наконец, есть автобиография, рассказывающая события жизни внешние и внутренние в хронологическом порядке. Все эти типы книг хотят с большей или меньшей правдивостью и точностью рассказать о том, что было, запечатлеть бывшее. К бывшему принадлежат, конечно, и мысли и чувства авторов. Моя книга не принадлежит вполне ни к одному из этих типов. Я никогда не писал дневника. Я не собираюсь публично каяться. Я не хочу писать воспоминаний о событиях жизни моей эпохи, не такова моя главная цель. Это не будет и автобиографией в обычном смысле слова, рассказывающей о моей жизни в хронологическом порядке. Если это и будет автобиографией, то автобиографией философской, историей духа и самосознания. Воспоминание о прошлом никогда не может быть пассивным, не может быть точным воспроизведением и вызывает к себе подозрительное отношение. Память активна, в ней есть творческий, преображающий элемент, и с ним связана неточность, неверность воспоминания. Память совершает отбор, многое она выдвигает на первый план, многое же оставляет в забвении, иногда бессознательно, иногда же сознательно. Моя память о моей жизни и моем пути будет сознательно активной, то есть будет творческим усилием моей мысли, моего познания сегодняшнего дня. Между фактами моей жизни и книгой о них будет лежать акт познания, который меня более всего и интересует. Гёте написал книгу о себе под замечательным заглавием «Поэзия и правда моей жизни». В ней не все правда, в ней есть и творчество поэта. Я не поэт, я философ. В книге, написанной мной о себе, не будет выдумки, но будет философское познание и осмысливание меня самого и моей жизни. Это философское познание и осмысливание не есть память о бывшем, это есть творческий акт, совершаемый в мгновении настоящего. Ценность этого акта определяется тем, насколько он возвышается над временем, приобщается ко времени экзистенциальному, то есть к вечности. Победа над смертоносным временем всегда была основным мотивом моей жизни. Книга эта откровенно и сознательно эгоцентрическая. Но эгоцентризм, в котором всегда есть что-то отталкивающее, для меня искупается тем, что я самого себя и свою жизненную судьбу делаю предметом философского познания. Я не хочу обнажать души, не хочу выбрасывать во вне сырьё своей души. Эта книга по замыслу своему философская, посвященная философской проблематике. Дело идет о самопознании, о потребности понять себя, осмыслить свой тип и свою судьбу. Так называемая экзистенциальная философия, новизна которой мне представляется преувеличенной, понимает философию как познание человеческого существования и познание мира через человеческое существование. Но наиболее экзистенциально собственное существование. В познании о себе самом человек приобщается к тайнам, неведомым в отношении к другим. Я пережил мир, весь мировой и исторический процесс, все события моего времени как часть моего микрокосма, как мой духовный путь. На мистической глубине все происшедшее с миром произошло со мной. И настоящее осмысливание заключается в том, чтобы понять все происшедшее с миром как происшедшее со мной. Итут я сталкиваюсь с основным противоречием моей противоречивой натуры. С одной стороны, я

переживаю все события моей эпохи, всю судьбу мира как события, происходящие со мной, как собственную судьбу, с другой стороны, я мучительно переживаю чуждость мира, далекость всего, мою неслиянность ни с чем. Если бы я писал дневник, то, вероятно, постоянно записывал в него слова: «Мне было это чуждо, я ни с чем не чувствовал слияния, опять, опять тоска по иному, по трансцендентному». Все мое существование стояло под знаком тоски по трансцендентному.

Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей родины, и для всего мира. На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я мог наблюдать необычайную превратность человеческих судеб. Я видел трансформации, приспособления и измены людей, и это, может быть, было самое тяжелое в жизни. Из испытаний, которые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила Высшая Сила и не допускала погибнуть. Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений. История не щадит человеческой личности и даже не замечает ее. Я пережил три войны, из которых две могут быть названы мировыми, две революции в России, малую и большую, пережил духовный ренессанс начала XX века, потом русский коммунизм, кризис мировой культуры, переворот в Германии, крах Франции и оккупацию ее победителями, я пережил изгнание, и изгнанничество мое не кончено. Я мучительно переживал страшную войну против России. И я еще не знаю, чем окончатся мировые потрясения. Для философа было слишком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири, был выслан из своей родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании. И вместе с тем я никогда не был человеком политическим. Ко многому я имел отношение, но, в сущности, ничему не принадлежал до глубины, ничему не отдавался вполне, за исключением своего творчества. Глубина моего существа всегда принадлежала чему-то другому. Я не только не был равнодушен к социальным вопросам, но и очень болел ими, у меня было «гражданское» чувство, но в сущности, в более глубоком смысле, я был асоциален, я никогда не был «общественником». Общественные течения никогда не считали меня вполне своим. Я всегда был «анархистом» на духовной почве и «индивидуалистом».

Книга моя написана свободно, она не связана систематическим планом. В ней есть воспоминания, но не это самое главное. В ней память о событиях и людях чередуется с размышлением, и размышления занимают больше места. Главы книги я распределил не строго хронологически, как в обычных автобиографиях, а по темам и проблемам, мучившим меня всю жизнь. Но некоторое значение имеет и последовательность во времени. Наибольшую трудность я вижу в том, что возможно повторение одной и той же темы в разных главах. Единственное оправдание, что тема вновь будет возникать в другой связи и другой обстановке. Я решаюсь занять собой не только потому, что испытываю потребность себя выразить и отпечатлеть свое лицо, но и потому, что это может способствовать постановке и решению проблем человека и человеческой судьбы, а также пониманию нашей эпохи. Есть также потребность объяснить свои противоречия. Такого рода книги связаны с самой таинственной силой в человеке, с памятью. Память и забвение чередуются. Я многое на время забываю, многое исчезает из моего сознания, но сохраняется на большей глубине. Меня всегда мучило забвение. Я иногда забывал не только события, имевшие значение, но забывал и людей, игравших роль в моей жизни. Мне всегда казалось, что это дурно. Впамяти есть воскрешающая сила, память хочет победить смерть. Но наступало мгновение, когда я вновь вспоминал забытое. Память эта имела активно-преображающий характер. Я не принадлежу к людям, обращенным к прошлому, я обращен к будущему. И прошлое имеет для меня значение как чреватое будущим. Мне не свойственно состояние печали, характерное для людей, обращенных к прошлому. Мне свойственно состояние тоски, что совсем иное означает, чем печаль. Я

человек более драматический, чем лирический, и это должно отпечатлеться на моей автобиографии. Думая о своей жизни, я прихожу к тому заключению, что моя жизнь не была жизнью метафизика в обычном смысле слова. Она была слишком полна страстей и драматических событий, личных и социальных. Я искал истины, но жизнь моя не была мудрой, в ней не господствовал разум, в ней было слишком много иррационального и нецелесообразного. Светлые периоды моей жизни чередовались с периодами сравнительно темными и для меня мучительными, периоды подъема чередовались с периодами упадка. Но никогда, ни в какие периоды я не переставал напряженно мыслить и искать. Наиболее хотел бы я воскресить более светлые и творческие периоды моей жизни. Хотел бы я, чтобы память победила забвение в отношении ко всему ценному в жизни. Но одно я сознательно исключаю, я буду мало говорить о людях, отношение с которыми имело наибольшее значение для моей личной жизни и моего духовного пути. Это понятно. Но память наиболее это хранит и хранит для вечности. Марсель Пруст, посвятивший все свое творчество проблеме времени, говорит в завершительной своей книге *Le temps retrouvé*: «J'avais trop expérimenté l'impossibilité d'atteindre dans la réalité ce qui était au fond moi-même»*. Эти слова я мог бы взять эпиграфом к своей книге. То, о чем говорит Пруст, было опытом всей моей жизни. Противоречив замысел моей книги уже потому, что самый скрытный человек пытается себя раскрыть. Это очень трудно. Дискретность не позволяет мне говорить о многом, что играло огромную роль не только во внешней, но и во внутренней моей жизни. С трудом выразима та положительная ценность, которая получена от общения с душой другого. С трудом выразим и скрытый трагизм жизни.

Несмотря на западный во мне элемент, я чувствую себя принадлежащим к русской интеллигенции, искавшей правду. Я наследую традицию славянофилов и западников, Чаадаева и Хомякова, Герцена и Белинского, даже Бакунина и Чернышевского, несмотря на различие мирозерцаний, и более всего Достоевского и Л. Толстого, Вл. Соловьева и Н. Федорова. Ярусский мыслитель и писатель. И мой универсализм, моя вражда к национализму – русская черта. Кроме того, я сознаю себя мыслителем аристократическим, признавшим правду социализма. Меня даже называли выразителем аристократизма социализма. Мной руководило желание написать эту книгу с наибольшей простотой и прямоотой, без художественного завуалирования.

То, что носит характер воспоминаний и является биографическим материалом, написано у меня сухо и часто схематично. Эти части книги мне нужны были для описания разных атмосфер, через которые я проходил в истории моего духа. Но главное в книге не это, главное – самопознание, познание собственного духа и духовных исканий. Меня интересует не столько характеристика среды, сколько характеристика моих реакций на среду.

Писано в Clamart и Pilat-plage в 1940 году.

Глава I

Истоки и происхождение. Я и мировая среда. Первые двигатели. Мир аристократический

Истоки человека лишь частично могут быть поняты и рационализированы. Тайна личности, ее единственности, никому не понятна до конца. Личность человеческая более таинственна, чем мир. Она и есть целый мир. Человек – микрокосм и заключает в себе все. Но актуализировано и оформлено в его личности лишь индивидуально-особенное. Человек есть также существо многоэтажное. Я всегда чувствовал эту свою многоэтажность. Огромное значение имеет первая реакция на мир существа, в нем рождающегося. Я не могу помнить первого моего крика, вызванного встречей с чуждым мне миром. Но я твердо знаю, что я изначально чувствовал себя попавшим в чуждый мне мир, одинаково чувствовал это и в первый день моей жизни, и в нынешний ее день. Я всегда был лишь прохожим. Христиане должны себя чувствовать не имеющими здесь пребывающего града и града грядущего взыскующими. Но то первичное чувство, которое я здесь описываю, я не считал в себе христианской добродетелью и достижением. Иногда мне казалось, что в этом есть даже что-то плохое, есть какой-то надлом в отношении к миру и жизни. Мне чуждо было чувство вкоренности в землю. Мне более свойственно орфическое понимание происхождения души, чувство ниспадания ее из высшего мира в низший.

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

У меня никогда не было чувства происхождения от отца и матери, я никогда не ощущал, что родился от родителей. Нелюбовь ко всему родовому – характерное мое свойство. Я не люблю семьи и семейственности, и меня поражает привязанность к семейному началу западных народов. Некоторые друзья шутя называли меня врагом рода человеческого. Это при том, что мне очень свойственна человечность. У меня всегда была мучительная нелюбовь к сходству лиц, к сходству детей и родителей, братьев и сестер. Черты родового сходства мне представлялись противоречащими достоинству человеческой личности. Я любил лишь «лица необщее выражение»*. Но ошибочно было бы думать, что я не любил своих родителей. Наоборот, я любил их, считал хорошими людьми, но относился к ним скорее как отец к детям, заботился о них, боялся, чтобы они не заболели, и мысль об их смерти переживал очень мучительно. У меня всегда было очень слабое чувство сыновства. Мне ничего не говорило «материнское лоно», ни моей собственной матери, ни матери-земли. Мать моя была очень красива, ее считали даже красавицей. В 50 лет она была еще очень красивой женщиной. Но я никогда не мог открыть в себе ничего похожего на эдипов комплекс, из которого Фрейд создал универсальный миф. Родство всегда казалось мне исключаящим всякую влюбленность. Предмет влюбленности должен быть далеким, трансцендентным, не похожим на меня. На этом ведь был основан культ «прекрасной дамы». Я русский романтик начала XX века.

По своему происхождению я принадлежу к миру аристократическому. Это, вероятно, не случайно и наложило печать на мою душевную формацию. Мои родители принадлежали к «светскому» обществу, а не просто к дворянскому обществу. В доме у нас говорили главным образом по-французски. Родители мои имели большие аристократические связи, особенно в первую половину жизни. Эти связи были частью родственные, частью по службе моего отца в кавалергардском полку. В детстве мне было известно, что мои родители были

друзья обер-гофмейстерины княгини Кочубей, которая имела огромное влияние на Александра III. Дворцовый комендант, генерал-адъютант Черевин, тоже близкий Александру III, был товарищем моего отца по кавалергардскому полку. Со стороны отца я происходил из военной семьи. Все мои предки были генералы и георгиевские кавалеры, все начали службу в кавалергардском полку. Мой дед М. Н. Бердяев был атаманом войска Донского. Прадед генерал-аншеф Н. М. Бердяев был новороссийским генерал-губернатором. Его переписка с Павлом I была напечатана в «Русской старине». Отец был кавалергардским офицером, но рано вышел в отставку, поселился в своем имении Обухове, на берегу Днепра, был одно время предводителем дворянства, в Турецкую войну опять поступил на военную службу, потом в течение 25 лет был председателем правления Земельного банка Юго-Западного края. У него не было никакой склонности делать карьеру, и он даже отказался от чина, который ему полагался за то, что более двадцати пяти лет он был почетным мировым судьей. Я с детства был зачислен в пажи за заслуги предков. Но так как мои родители жили в Киеве, то я поступил в Киевский кадетский корпус, хотя за мной осталось право в любой момент быть переведенным в пажеский корпус. Мать моя была рожденная княжна Кудашева. Она была полуфранцуженка. Ее мать, моя бабушка, была графиня Шуазель. В сущности, мать всегда была более француженка, чем русская, она получила французское воспитание, в ранней молодости жила в Париже, писала письма исключительно по-французски и никогда не научилась писать грамотно по-русски, будучи православной по рождению, она чувствовала себя более католичкой и всегда молилась по французскому католическому молитвеннику своей матери. Я шутя ей говорил, что она никогда не перешла с Богом на «ты». Интересно, что у меня была бабушка монахиня и прабабушка монахиня. Мать моего отца, рожденная Бахметьева, была в тайном постриге еще при жизни моего деда. Она была близка к Киево-Печерской лавре. Известный старец Парфений был ее духовником и другом, ее жизнь была им целиком определена. Помню детское впечатление. Когда умерла бабушка и меня привели на ее похороны, мне было лет шесть, я был поражен, что она лежала в гробу в монашеском облачении и ее хоронили по монашескому обряду. Монахи пришли и сказали: «Она наша». Бабушка моей матери, княгиня Кудашева, рожденная княжна Баратова, стала после смерти мужа настоящей монахиней. У меня и в советский период висел ее большой портрет масляными красками в монашеском облачении с очень строгим лицом. Бабушка Бердяева жила в собственном доме с садом в верхней старинной части Киева, которая называлась Печерск. Атмосфера Печерска была особая, это смесь монашества и воинства. Там была Киево-Печерская лавра, Никольский монастырь и много других церквей. На улицах постоянно встречались монахи. Там была Аскольдова могила, кладбище на горе над Днепром, где похоронена бабушка и другие мои предки. Вместе с тем Печерск был военной крепостью, там было много военных. Это старая военномонашеская Россия, очень мало подвергавшаяся модернизации. Киев один из самых красивых городов не только России, но и Европы. Он весь на горах, на берегу Днепра, с необыкновенно широким видом, с чудесным Царским садом, с Софиевским собором, одной из лучших церквей России. К Печерску примыкали Липки, тоже в верхней части Киева. Это дворянско-аристократическая и чиновничья часть города, состоящая из особняков с садами. Там всегда жили мои родители, там был у них дом, проданный, когда я был еще мальчиком. Наш сад примыкал к огромному саду доктора Меринга, занимавшему сердцевину Киева. У меня на всю жизнь сохранилась особенная любовь к садам. Но я чувствовал себя родившимся в лесу и более всего любил лес. Все мое детство и отрочество связано с Липками. Это уже был мир несколько иной, чем Печерск, мир дворянский и чиновничий, более тронутый современной цивилизацией, мир, склонный к веселью, которого Печерск не допускал. По другую сторону Крещатика, главной улицы с магазинами между двумя горами, жила буржуазия. Совсем внизу около Днепра был Подол, где жили главным образом евреи, но была и Киевская духовная академия. Наша семья, хотя

и московского происхождения, принадлежала к аристократии Юго-Западного края, с очень западными влияниями, которые всегда были сильны в Киеве. Особенно семья моей матери была западного типа, с элементами польскими и французскими. В Киеве всегда чувствовалось общение с Западной Европой. Я с детства часто ездил за границу. Первый раз ездил за границу семи лет в Карлсбад, где моя мать лечила болезнь печени. Первое мое впечатление от заграницы была Вена, которая мне очень понравилась.

Из моих предков наиболее яркой и интересной фигурой был мой дед М. Н. Бердяев. О нем я слышал много рассказов с детства. Отец любил рассказывать, как дед победил Наполеона. В 1814 году, в Кульмском сражении, армия Наполеона побеждала русскую и немецкую армии. В той части русской армии, где находился мой дед, были убиты все начальствовавшие, начиная с генерала. Мой дед был молодым поручиком кавалергардского полка, но должен был вступить в командование целой частью. Он перешел в бурное наступление и атаковал французскую армию. Французы подумали, что противник получил подкрепление. Армия Наполеона дрогнула и проиграла Кульмское сражение. Мой дед получил Крест Святого Георгия и прусский Железный Крест. Другой рассказ. Дед командует полком. Он исключительно хорошо относился к солдатам. Для военного времени Николая I он был исключительно гуманным человеком. По рассказам отца, он всегда с отвращением относился к крепостному праву и стыдился его. После того, как он был произведен в генералы и отправился на войну, солдаты его полка поднесли ему медаль в форме сердца с надписью: «Боже, храни тебя за твою к нам благодетель». Эта медаль всегда висела у отца в кабинете, и он особенно ею гордился. Третий рассказ. Дед – атаман Войска Донского. Приезжает Николай I и хочет уничтожить казацкие вольности. Это была тенденция к унификации. Был парад войска в Новочеркасске, и Николай I обратился к моему деду, как начальнику края, с тем, чтобы было приведено в исполнение его предписание об уничтожении казацких вольностей. Мой дед говорит, что он считает вредным для края уничтожение казацких вольностей, и просит уволить его в отставку. Все в ужасе и ждут кар со стороны Николая I, который нахмурился. Но потом настроение его меняется, он целует деда и отменяет свое распоряжение. Уже старым и больным дед проявлял нелюбовь к монахам, хотя он был православным по своим верованиям. Тут уместно сказать о некоторых наследственных свойствах характера нашей семьи. Я принадлежу к расе людей чрезвычайно вспыльчивых, склонных к вспышкам гнева. Отец мой был очень добрый человек, но необыкновенно вспыльчивый, и на этой почве у него было много столкновений и ссор в жизни. Брат мой был человек исключительной доброты, но одержимый настоящими припадками бешенства. Я получил по наследству вспыльчивый, гневливый темперамент. Это русское барское свойство. Мальчиком мне приходилось бить стулом по голове. С этим связана и другая черта – некоторое самодурство. При всех добрых качествах моего отца, я в его характере замечал самодурство. Этот недостаток барски-русский есть и у меня. Я иногда замечаю что-то похожее на самодурство даже в моем процессе мысли, в моем познании. Если глубина духа и высшие достижения личности ничего наследственного в себе не заключают, то в душевных и душевно-телесных свойствах есть много наследственного. Когда я был в ссылке в Вологде, то побил палкой чиновника Губернского правления за то, что тот преследовал на улице знакомую мне барышню. Побив его, я ему сказал: «Завтра вы будете уволены в отставку». Очевидно, кровь предков мне бросилась в голову. Мне приходилось испытывать настоящий экстаз гнева. Вспоминая свое прошлое, я думаю, что мог часто безнаказанно проявлять такую гневливость и вспыльчивость потому, что находился в привилегированном положении. Мы жили еще в патриархальных нравах. Мой отец, который во вторую половину жизни имел взгляды очень либеральные, не представлял жизни иначе, чем в патриархальном обществе, где родственные связи играют определенную роль. Когда меня арестовали и делали обыск, то жандармы ходили на цыпочках и говорили шепотом, чтобы не разбудить отца. Жандармы и полиция знали, что отец на «ты»

с губернатором, друг генерал-губернатора, имеет связи в Петербурге. Будучи социал-демократом и занимаясь революционной деятельностью, я, в сущности, никогда не вышел окончательно из положения человека, принадлежащего к привилегированному, аристократическому миру. Это и после того, как я сознательно порвал с этим миром. Так создавалось некоторое неравенство с моими товарищами, которые всегда меня чувствовали бариним. Из людей, окружавших меня в детстве, особенно запечатлелся мне образ моей няни Анны Ивановны Катаменковой. Русская няня была поразительным явлением старой России. Можно поражаться, как она могла вырасти на почве крепостного права. Моя няня была крепостной моего деда. Она была няня двух поколений Бердяевых, моего отца и моей. Отец относился к ней с огромной любовью и уважением. Она представляла собой классический тип русской няни. Горячая православная вера, необыкновенная доброта и заботливость, чувство достоинства, возвышавшее ее над положением прислуги и превращавшее ее в члена семьи. Няни в России были совсем особым социальным слоем, выходящим из сложившихся социальных классов. Для многих русских бар няня была единственной близкой связью с народом. Моя няня умерла в глубокой старости, когда мне было около четырнадцати лет. Первое мое впечатление связано с ней. Помню, что я с няней иду по аллее сада в родовом имении моего отца, Обухове, на берегу Днепра. Мне было, вероятно, года три или четыре. До этого ничего не могу припомнить. После этого тоже некоторое время ничего не припоминаю. Следующее воспоминание уже связано с нашим домом в Киеве. Родовое имение моего отца было продано, когда я был еще ребенком, и был куплен в Киеве дом с садом. Отец мой всегда имел тенденцию к разорению. Всю жизнь он не мог утешиться, что имение продано, и тосковал по нем. У него было тяготение к деревне. Мать же больше любила город. На этой почве были споры. Я всегда мечтал о деревне и надеялся, что отец купит новое имение, хотя бы более скромное. В воображении часто представлял себе, какой будет усадьба, непременно около леса, столь мною любимого. Но этого не случилось. У моего отца оставалось еще майоратное имение в Польше, пожалованное моему деду за заслуги. В этом майоратном имении, находившемся на самой границе Германии, мы никогда не жили. Оно было в аренде. Я всего раз в жизни, еще юношей, был там проездом из Германии. Никакой связи с этой собственностью не было. Как майорат, это имение нельзя было ни продать, ни заложить, и это спасло от полного разорения. У меня было всегда странное отношение к собственности. Я не только не считал собственность священной, но и никогда не мог освободиться от чувства греховности собственности. Сильное чувство собственности у меня было только на предметы потребления, особенно на книги, на мой письменный стол, на одежду. Деньги, необходимые для жизни, мне казались дарованными Богом, чтобы я мог отдаться единственно творчеству. При этом у меня была некоторая расчетливость при крайней непрактичности. Если не считать моего детства и юности, то большую часть жизни я испытывал материальную стесненность, а иногда и критическое положение. Мальчиком я обыкновенно проводил лето в великолепном имении моей тети, Ю.Н.Гудим-Левкович. С семьей Гудим-Левковичей, которая представляла один из центров киевского светского общества, мы были очень связаны. Наша семья была невеселая. В доме Гудим-Левковичей бывало много молодежи, веселились. С кузинами я был дружен, особенно с Наташей, с которой у меня сохранились отношения и в Париже, до ее трагической кончины. Это была семья благополучная. В нашей же семье я всегда чувствовал неблагополучие, неприспособленность к жизни, надлом, слишком большую чувствительность. Она уже вышла из крепкого, оформленного быта и менее всего приспособилась к новому буржуазному быту. У отца моего происходил перелом мирозерцания, он все более проникался либеральными взглядами, порывал с традициями и часто вступал в конфликт с окружающим обществом. Надлом в нашу семью внесли отношения между моими родителями и семьей моего брата, который был на пятнадцать лет старше меня. Семья брата имела огромное значение в моей жизни и моей душевной формации. Брат

был человек очень одаренный, хотя совсем в другом направлении, чем я, очень добрый, но нервно больной, бесхарактерный и очень несчастный, не сумевший реализовать своих дарований в жизни. У нас образовалась атмосфера, родственная Достоевскому.

§

В детстве и юности я знал мир феодально-аристократический высшего стиля. Это связано с польскими родственниками моей матери. Графиня Марья Евстафьевна Браницкая, урожденная княжна Сапега, была кузиной моей матери, муж ее был двоюродным дядей моей матери. Она была близким другом моей матери, и в моем детстве мы часто у них жили. Был даже особенный павильон, предназначенный для нашей семьи. Браницкая была владелицей города Белая Церковь, у нее было 60 000 десятин в Киевской губернии, были дворцы в Варшаве, Париже, Ницце и Риме. Браницкие были родственники царской семьи. Дочь Екатерины II и Потемкина была выдана замуж за гетмана Малороссии Браницкого. На окраине Белой Церкви была Александрия, летний дворец Браницких, с одним из лучших парков не только России, но и Европы. Это был стиль барокко. Белая Церковь и Александрия представляли настоящее феодальное герцогство, с двором, с неисчислимым количеством людей, питавшихся вокруг двора, с огромными конюшнями породистых лошадей, с охотами, на которые съезжалась вся аристократия Юго-Западного края. За обедом давали до пятнадцати утонченных блюд. Осенью мы постоянно жили с матерью в Белой Церкви. У меня был кабриолет с двумя пони, я сам правил и ездил в лес за грибами, сзади сидел кучер в польской ливрее. Кроме того был осел, на котором я ездил по парку. Но я бывал в Белой Церкви и значительно позже, уже студентом и социал-демократом. Я иногда ездил туда на месяц для уединенных занятий и жил в зимнем дворце гетмана Браницкого. Но я никогда не любил этого мира и еще в детстве был в оппозиции. Я всегда чувствовал большое несоответствие между мной и стилем Браницких, хотя графиня Браницкая, светски умная и с большим шармом, была со мной очень мила и тогда, когда я был уже марксистом и приезжал после споров с Луначарским. Но я всегда одевался элегантно, у меня всегда была склонность к франтовству, и я обращал большое внимание на внешность. Я всегда любил сигары и духи, это для меня характерно. Любил я ходить в уединении по чудесному парку Александрии и мечтать об ином мире. В разгар революции усадьба Браницких была разгромлена, дом сожжен. Сама графиня Браницкая, женщина по-своему гуманная, должна была бежать и скоро умерла. Когда я, будучи марксистом, сидел в салоне Браницкой, то не предполагал, что из марксизма могут произойти такие плоды. В Париже, в период изгнания, я встречал дочь Браницкой – княгиню Битет-Раздвил. К феодальному миру, о котором вспоминаю как о чем-то доисторическом, принадлежали также светлейшие князья Лопухины-Демидовы. Княгиня Лопухина-Демидова была кузиной моей матери. Ее муж, товарищ моего отца по кавалергардскому полку, был моим крестным отцом. Ольга Валериановна Лопухина-Демидова была женщина высокого стиля, величественная, гордая, властная, очень красивая. Мой отец был с ней в ссоре. Поэтому в их майоратном имении Корсуне я не бывал. Между Браницкими и Лопухинами-Демидовыми была конкуренция в первенстве. Лопухины-Демидовы имели тенденцию к разорению, и их периодически поддерживала царская семья. С тетей Лопухиной-Демидовой я встречался в Берлине, в эмиграции, незадолго до ее смерти. Она выражала большое презрение к русским правым монархистам, чувствуя в них что-то неаристократическое, плебейское. «Союз русского народа» всегда ведь носил плебейский характер, и его чуждалась аристократия. Моя тетька что-то вязала для императрицы Марии Федоровны, с которой была близка, и в то же время презирала русских монархистов и даже главных деятелей не пускала к себе в дом.

§

Я воспитывался в военном учебном заведении, в Киевском кадетском корпусе. Но жил дома и был приходящим, что представляло собой исключение. Чтобы поступить в университет, я должен был держать экзамен на аттестат зрелости экстерном. Я не любил корпуса, не любил военщины, все мне было не мило. Когда я поступил во второй класс кадетского корпуса и попал во время перемены между уроками в толпу товарищей кадетов, я почувствовал себя совершенно несчастным и потерянным. Я никогда не любил общества мальчиков-сверстников и избегал возвращаться в их обществе. Лучшие отношения у меня были только с девочками и барышнями. Общество мальчиков мне всегда казалось очень грубым, разговоры низменными и глупыми. Я и сейчас думаю, что нет ничего отвратительнее разговоров мальчиков в их среде. Это источник порчи. Кадеты же мне показались особенно грубыми, неразвитыми, пошлыми. К тому же товарищи иногда насмехались над моими нервными движениями хореического характера, присущими мне с детства. У меня совсем не выработалось товарищеских чувств, и это имело последствие для всей моей жизни. Единственным товарищем моего детства был моряк Н. М., которому мой отец помог окончить образование. Я был очень к нему привязан, и отношения сохранились на всю жизнь. Он стал как бы членом нашей семьи. Впоследствии он стал очень храбрым моряком, совершал экспедиции. Он был вместе со мной в ссылке в Вологде. Но в коллективной атмосфере военного учебного заведения я был резким индивидуалистом, очень отъединенным от других. На меня смотрели как на аристократическое дитя, пажа, будущего гвардейца. Преобладали же армейцы. Но мое расхождение с кадетами и со всей кадетской атмосферой имело более глубокие причины. Во мне необычно рано пробудился интерес к философским проблемам, и я сознал свое философское призвание еще мальчиком. Учился я всегда посредственно и всегда чувствовал себя мало способным учеником. Одно время у меня был домашний репетитор. Однажды он пришел к отцу и сказал, что ему трудно заниматься с таким неспособным учеником. В это время я уже много читал и рано задумывался над смыслом жизни. Но я никогда не мог решить ни одной математической задачи, не мог выучить четырех строк стихотворения, не мог написать страницы диктовки, не сделав ряд ошибок. Если бы я не знал с детства французский и немецкий языки, то, вероятно, с большим трудом овладел бы ими. Но ввиду знания языков, я имел в этом преимущество перед другими кадетами. Я сносно знал теорию математики и потому мог кое-как обернуться, не умея решать задачи. Я недурно писал сочинения, несмотря на неспособность овладеть орфографией. Лучше других предметов я знал историю и естествознание. Программа кадетских корпусов была близка к программе реальных училищ. Большое значение имела математика, и преподавалась в старшем классе даже аналитическая геометрия и элементы высшей математики. Преподавалось естествознание, ботаника, зоология, минералогия, физика и химия, космография. Поступив в университете на естественный факультет, я лучше других студентов ориентировался в естественных науках. Большое значение имели новые языки. Но греческий и латинский я изучал всего два года, готовясь на аттестат зрелости. Преподавание в киевском корпусе было неплохое, среди преподавателей были даже приват-доценты университета. Директор кадетского корпуса генерал А. был человек хороший, и ко мне он относился хорошо. Но я не мог принять никакого учебного заведения, не мог принять и университета. Психологически я себе объясняю, почему я всегда был неспособным учеником, несмотря на очень раннее мое умственное развитие и на чтение книг, которых в моем возрасте никто не читал. Когда я держал выпускной экзамен по логике, то я уже прочел «Критику чистого разума» Канта и «Логику» Д. С. Милля. Мои способности обнаруживались лишь тогда, когда умственный процесс шел от меня, когда я был в активном и творческом состоянии, и я не мог обнаружить способностей, когда нужно

было пассивное усвоение и запоминание, когда процесс шел извне ко мне. Я, в сущности, никогда не мог ничего пассивно усвоить, просто заучить и запомнить, не мог поставить себя в положение человека, которому задана задача. Поэтому экзамен был для меня невыносимой вещью. Я не могу пассивно отвечать. Мне сейчас же хочется развить собственные мысли. По Закону Божьему я однажды получил на экзамене единицу при двенадцатибалльной системе. Это был случай небывалый в истории кадетского корпуса. Я никогда не мог бы конспектировать ни одной книги. И я, вероятно, срезался бы, если бы мне предложили конспектировать мою собственную книгу. Я очень много читал в течение всей моей жизни и очень разнообразно. Я читаю быстро и легко. С необычайной легкостью ориентируюсь в мире мысли данной книги, сразу же знаю, что к чему относится, в чем смысл книги. Но я читаю активно, а не пассивно, я непрерывно творчески реагирую на книгу и помню хорошо не столько содержание книги, сколько мысли, которые мне пришли в голову по поводу книги. Для меня это очень характерно. Вместе с тем я никогда не мог признать никакого учителя и руководителя занятий. В этом отношении я автодидакт. Во мне не было ничего педагогического. Я понимал жизнь не как воспитание, а как борьбу за свободу. Я сам составлял себе план занятий. Никогда никто не натолкнул меня на занятия философией, это родилось изнутри. Я никогда не мог принадлежать ни к какой школе. Я всю жизнь учился, учусь и сейчас. Но это есть свободное приобщение к мировому знанию, к которому я сам определяю свое отношение. Покупка книг была для меня большим наслаждением. Вспоминаю, как я ходил в большой книжный магазин Оглоблина на Крещатике. Почти каждый день я ходил осматривать новые книги. Любовь к книжным магазинам у меня сохранилась и доньне.

Как я говорил уже, я принадлежу к военной семье со стороны отца и воспитывался в военном учебном заведении. И у меня была антипатия к военным и всему военному, я всю жизнь приходил в плохое настроение, когда на улице встречал военного. Я с уважением относился к военным во время войны, но не любил их во время мира. Будучи кадетом, я с завистью смотрел на студентов, потому что они занимались интеллектуальными вопросами, а не маршировкой. Я около шести лет учился строевой службе. Кадетский корпус был единственным местом, где было физическое воспитание и спорт, конечно, того времени. Гимнастика была обязательным предметом, как и танцы. Отвращение к военщине вызывало во мне нелюбовь к физическим упражнениям. Гимнастика казалась мне скучной, и лишь впоследствии, для гигиены, я делал по утрам гимнастику. Танцы я не любил и танцевал плохо. Балы казались мне необыкновенно скучными. Две вещи, не связанные с интеллектуальной жизнью, требующие физической умелости, я делал хорошо: я очень хорошо ездил верхом и хорошо стрелял в цель. Ездить верхом я очень любил. Когда мне было около 9 лет, ко мне приезжал казак, он обучал меня верховой езде, мы ездили за город. Я умел ездить по-казачьи и по-кавалерийски. Быстрая езда карьером была для меня наслаждением. В этом я, наверное, превосходил моих товарищей по кадетскому корпусу. Меня огорчало, что потом наступили времена, когда трудно было ездить верхом. Я также хорошо стрелял в цель, почти без промаха. Думая о физическом труде и тренировке тела, я на опыте подтверждаю для себя глубокое убеждение, что человек есть микрокосм, потенциальная величина, что в нем все заложено. Маленьким мальчиком я очень увлекался ремеслами, я был и столяром, и маляром, и щекатуром. Особенно любил столярное ремесло, даже обучался ему в столярной мастерской и делал какие-то рамки и стулья. И сейчас я с любовью вхожу в столярную мастерскую. Одно время был даже огородником и сажал какие-то овощи. Этим как будто бы исчерпались все мои возможности физического труда, и всю жизнь я был неумелым в этой области. Я был также художником и даже очень увлекался живописью. У меня были довольно большие способности к рисованию, и в кадетском корпусе я был одним из первых по рисованию. Я даже кончил рисовальную школу, три года учился. Начал уже писать масляными красками. Настоящего таланта у меня, наверное, не было, были способности. Но как только я осознал

свое философское призвание, а его я осознал очень рано, еще мальчиком, я совершенно бросил живопись. Я начал писать романы философского направления. Возвращаясь к своей реакции на кадетский корпус. Когда я наблюдаю современное поколение молодежи, увлеченное милитаризацией и идеалом военного, то это вызывает во мне особенное раздражение, потому что я получил военное воспитание, испытал на себе военную дисциплину, знаю, что такое значит принадлежать к военному коллективу. Пребывание в кадетском корпусе оказало на меня большое влияние в смысле сильной реакции против военной среды и атмосферы. По характеру своему я принадлежу к людям, которые отрицательно реагируют на окружающую среду и склонны протестовать. Это также форма зависимости. Я всегда разрывал со всякой средой, всегда уходил. У меня очень слабая способность к приспособлению, для меня невозможен никакой конформизм. Эта неприспособленность к окружающему миру – мое основное свойство. Я никому и ничему никогда не мог подчиниться. Это я проверил на опыте всей моей жизни. Еще до кадетского корпуса, совсем маленьким, я надевал белый кавалергардский мундир моего отца, ленты и звезды моего деда. Меня интересовал образ Суворова. Я даже делал план сражения. На этом были совершенно изжиты мои милитаристические наклонности. Некоторая воинственность моего характера целиком перешла в идейную борьбу, в сражения в области мысли. Все военное было для меня нестерпимым, ибо делало человека подчиненной частью коллективного целого. Я даже избегал соблюдать кадетскую форму. Не стриг коротко волос, как полагалось кадетам. Старался избегать встреч с генералами, чтобы не становиться во фронт. Ни с одним товарищем по кадетскому корпусу у меня не возникло никаких отношений. Тут большую роль играла моя скрытность. Затрудняла товарищеские отношения со мной также моя вспыльчивость. Со мной не очень приятно было играть в карты, потому что я мог прийти в настоящее бешенство против моего партнера. Кстати, любовь к карточной игре и притом с азартом я изжил мальчиком и более к этому не возвращался. Любовь к философии, к познанию смысла жизни вытесняла во мне все. Вмоей природе есть кавалергардские инстинкты, но они были мной задавлены и вытеснены. Преодоление их усложнило мою натуру. О произошедшем во мне перевороте речь впереди. До переворота у меня было много неприятных черт, от которых я освободился. Я был переведен в пажеский корпус и должен был жить в Петербурге у сановного двоюродного брата моего отца. Вместо этого переезда я осуществил свою мечту, вышел из шестого класса кадетского корпуса и начал готовиться на аттестат зрелости для поступления в университет. Вспоминая прошлое, должен сказать, что единственный быт, с которым у меня была какая-то связь, есть все-таки помещичий, патриархальный быт. Я очень любил русскую деревню и тоскую по ней и сейчас.

§

Огромную роль в моей жизни играли болезни. Вэтом отношении я с детства пережил травмы. Ясчитаю себя человеком храбрым, морально храбрым в максимальном смысле, но и физически храбрым в важные моменты жизни. Я это доказал во многих опасных случаях моей жизни. Возможно, что тут играет роль моя военная наследственность. Но в этом отношении моя храбрость имеет границы и я малодушен и труслив. Я страшно боюсь болезней, болезни внушают мне почти мистический ужас. Ошибочно было бы это объяснить страхом смерти. У меня никогда не было особенно страха смерти, это не моя черта. Если я боюсь смерти, то не столько своей, сколько близких людей. Я боюсь именно болезней, заразы, всегда представляю себе дурной исход болезни. Я человек мнительный. И это относится не только ко мне, но в такой же степени к другим. Мое сильно развитое воображение направлено в худшую сторону. Мне кажется, что я не боюсь быть убитым пулей или бомбой. Я это проверил на опыте в дни октябрьского переворота 17 года в Москве, когда бомбы летали над

нашим домом и одна разорвалась в нашем дворе. Я в это время продолжал писать. Я также совершенно не боялся бомбардировок Парижа. Но я боюсь заразиться тифом, дифтеритом, даже простым гриппом. Отчасти это объясняется тем, что в нашей семье болезни играли огромную роль. Я мало подвергаюсь внушению, но в детстве мне была внушена мысль, что жизнь есть болезнь. Лучший профессор медицины приезжал осматривать всех членов нашей семьи. У моей матери в течение 40 лет была тяжелая болезнь печени. По ночам были припадки печени с прохождением камней, и я слышал ее крики. Каждый раз думали, что она может умереть. Это очень тяжело на меня действовало. Отец постоянно лечился. Меня самого постоянно лечили. Совсем маленьким я год пролежал в кровати, у меня была ревматическая горячка. Семья наша была необыкновенно нервной. У меня была нервная наследственность, выражающаяся в моих нервных движениях. Это, вероятно, связано с судорожностью моей натуры, мои душевные движения также судорожны. Особенная нервность была со стороны отца. Мать часто говорила, что Бердяевы не совсем нормальны, Кудашевы же нормальны. Мой брат был человек нервно больной в тяжелой форме. Многие находили, что у него были ненормальности. С этим связаны у меня травмы, сохранившиеся в моем подсознательном. Мне часто в семье приходилось играть роль посредника. Семья брата была для меня первым выходом из аристократической среды и переходом в другой мир. Брат был человеком, готовым отдать последнее. Деньги не могли у него удержаться и одного дня. И он всегда был в затруднительном положении. У него было очень красивое, почти греческое лицо. Но он периодически опускался, не брился, не мылся, одевался так, что производил впечатление оборванца. Потом вдруг появлялся очень элегантно. У него были способности, которых не было у меня, была изумительная память, дар к математике и языкам. Он писал стихи даже по-немецки, но не было никакой склонности к философии. В семье брата я рано столкнулся с явлениями оккультизма, к которым был в решительной оппозиции. Мой брат иногда впадал в транс, начинал говорить рифмованно, нередко на непонятном языке, делался медиумом, через которого происходило сообщение с миром индусских махатм. Однажды через брата, находившегося в состоянии транса, махатма сказал обо мне: «Он будет знаменит в Европе вашей старой». Эта атмосфера действовала на меня отрицательно, и я боролся против нее. Но атмосфера была напряженной, были напряженные духовные интересы.

В моей семье совершенно отсутствовала авторитарность. Я в ней не чувствовал инерции традиционного быта. В ней было что-то заколебавшееся. Она принадлежала к толстовскому кругу, но было что-то от Достоевского. Уже в моем отце, во вторую половину жизни, было что-то переходное от наших предков ко мне. Меня никогда не стесняли и не насиловали. Я не помню, чтобы меня когда-либо наказывали. Вероятно, из гордости я себя держал так, чтобы не было и поводов для наказания. В детстве я никогда не капризничал и не плакал, мне были мало свойственны и детские шалости. Единственное, что мне было свойственно, это припадки вспыльчивости. Отца всегда пугало, когда я делался белым как полотно от припадка вспыльчивости. Мне свойственна изначальная свобода. Я эмансипатор по истокам и пафосу. Во мне образовался собственный внутренний мир, который я противопоставлял миру внешнему. Это выражалось и в том, что я любил устраивать свою комнату и выделять ее из всей квартиры, не выносил никаких посягательств на мои вещи. С детства собирал собственную библиотеку. Думаю, что мне всегда был свойствен эгоизм, эгоизм главным образом защитительный. Но я не был эгоцентриком, то есть не был исключительно поглощен собой и не относил всего к себе. Я всегда был педантически аккуратен, любил порядок в распределении дня, не выносил ни малейшего нарушения порядка на моем письменном столе. Это обратная сторона моего прирожденного анархизма, моего отвращения к государству и власти. Помню один важный разговор, который имел со мной отец. Во время разговора отец заплакал. Разговор этот имел для меня большое значение, после него многое во мне изменилось, и я благодарно об этом вспоминаю. Отец меня очень любил, и эта любовь со временем

вырастала. С матерью отношения были более легкими. В ней всегда чувствовалось что-то французское, и в ней было больше светскости, чем в отце. Вместе с тем в ней было много доброты. Я не любил светское аристократическое общество, и с известного момента это превратилось в глубокое отгалкивание и жажду полного разрыва. Я никогда не любил элиты, претендующей на аристократизм. Мой собственный аристократизм сказывался в отгалкивающем чувстве, которое мне внушали *parvenus* и арривисты, люди, проталкивающиеся из низов к верхним слоям, нелюбви к подбору, который я считаю не аристократическим принципом. Аристократизм определяется по происхождению, а не по достижению. В детстве у меня Наверное были аристократические предрассудки. Но в бурной реакции, или, вернее, революции, я победил их. В аристократическом обществе я не видел настоящего аристократизма и видел чванство, презрение к низшим, замкнутость. В России не было настоящих аристократических традиций. У меня была, конечно, «господская» психология, предки мои принадлежали к «господам», к правящему слою. Но у меня это соединялось с нелюбовью к господству и власти, с революционным требованием справедливости и сострадательности. Я принадлежу к «кающимся дворянам», хотя одно время усиленно боролся против такой душевной формации. Отец мой потом смеялся над моим социализмом и говорил, что я барин-сибарит более, чем он. В сущности, я стремился не к равенству и не к преобладанию и господству, а к созданию своего особого мира.

§

С детства я жил в своем особом мире, никогда не сливался с миром окружающим, который мне всегда казался не моим. У меня было острое чувство своей особенности, непохожести на других. О схожем чувстве говорит А. Жид в своем «Дневнике», но причины иные. Внешне я не только не старался подчеркнуть свою особенность, но наоборот, всегда старался сделать вид, притвориться, что я такой же, как другие люди. Это чувство особенности не следует смешивать с сомнением. Человек огромного самомнения может себя чувствовать слитым с окружающим миром, быть очень социализированным и иметь уверенность, что в этом мире, совсем ему не чуждом, он может играть большую роль и занимать высокое положение. У меня же было чувство неприспособленности, отсутствие способностей, связанных с ролью в мире. Меня даже всегда удивляло, что впоследствии, при моей неспособности к какому-либо приспособлению и конформизму, я приобрел большую европейскую и даже мировую известность и занял «положение в мире». Я даже стал «почтенным» человеком, что мне кажется совсем не соответствующим моей незаконной и возмущившейся природе. Вместе с тем это мое коренное чувство не следует смешивать с *complex d'infériorité**, которого у меня совсем нет. Я отнюдь не застенчивый человек, и я всегда говорил и действовал уверенно, если это не касалось деловой, «практической» стороны жизни, где я всегда себя чувствовал беспомощным. Вобыденной жизни я был скорее робок, неумел, не самоуверен и был мужествен и храбр лишь когда речь шла об идейной борьбе или в минуты серьезной опасности. Чувство жизни, о котором я говорю, я определяю как чуждость мира, неприятие мировой данности, неслиянность, неукорененность в земле, как любят говорить, болезненное отвращение к обыденности. Часто это называли моим «индивидуализмом», но я считаю это определение неверным. Я не только выхожу из себя к миру мысли, но и к миру социальному. Человек есть сложное и запутанное существо. Мое «я» переживает себя как пересечение двух миров. При этом «сей мир» переживается как не подлинный, не первичный и не окончательный. Есть «мир иной», более реальный и подлинный. Глубина «я» принадлежит ему. В художественном творчестве Л. Толстого постоянно противопоставляется мир лживый, условный и мир подлинный, божественная природа (князь Андрей в петербургском салоне и князь Андрей, смотрящий на поле сражения на звездное небо). С этой темой связана для

меня роль воображения и мечты. Действительности противостоит мечта, и мечта в каком-то смысле реальнее действительности. Это могут определить как романтизм, но тоже неточно. У меня всегда было очень реалистическое, трезвое чувство действительности, была даже очень малая способность к идеализации и к иллюзиям. Но что казалось мне всегда очень мучительным и дурным, так это моя страшная брезгливость к жизни. Я прежде всего человек брезгливый, и брезгливость моя и физическая, и душевная. Я старался это преодолеть, но мало успевал. У меня совсем нет презрения, я почти никого и ничего не презираю. Но брезгливость ужасная. Она меня всю жизнь мучила, например, в отношении к еде. Брезгливость вызывает во мне физиологическая сторона жизни. Я прошел через жизнь с полузакрытыми глазами и носом вследствие отвращения. Я исключительно чувствителен к миру запахов. Поэтому у меня страсть к духам. Я хотел бы, чтобы мир превратился в симфонию запахов. Это связано с тем, что я с болезненной остротой воспринимаю дурной запах мира. У меня есть брезгливость и к самому себе. Думаю, что брезгливость связана у меня со структурой моего духа. Душевная брезгливость у меня не меньшая. Дурной нравственный запах мучит меня не меньше, чем дурной физический запах. Брезгливость вызывают интриги жизни, закулисная сторона политики. Я не эстет по своему основному отношению к жизни и имею антипатию к эстетам. Моя преобладающая ориентировка в жизни этическая. По типу своей мысли я моралист. Но у меня всегда был сильный чувственно-пластический эстетизм, я любил красивые лица, красивые вещи, одежду, мебель, дома, сады. Я люблю не только красивое в окружающем мире, но и сам хотел быть красивым. Я страдал от всякого уродства. Прыщик на лице, пятно на башмаке вызывали уже у меня отталкивание, и мне хотелось закрыть глаза. У меня была необыкновенная острота зрения, один окулист сказал мне, что оно вдвое сильнее нормального. Входя в гостиную, я видел всех и все, малейший дефект бросался мне в глаза. Я всегда считал это несчастным свойством. В мире, особенно в человеческом мире, больше уродства, чем красоты. Я замечаю, что у меня отсутствует целый ряд дурных страстей и аффектов, вероятно, потому, что я не приобщаюсь до глубины к борьбе и соревнованию, которые происходят в мировой жизни. Я совершенно неспособен испытывать чувства ревности, мне не свойствен аффект зависти, и нет ничего более чуждого мне, чем мстительность, у меня атрофировано совершенно всякое чувство иерархического положения людей в обществе, воля к могуществу и господству не только мне несвойственна, но и вызывает во мне брезгливое отвращение. Слишком многие страсти, господствующие над жизнью людей, мне чужды и непонятны. Это могут объяснить ущербностью моей природы, безразличием ко многим, прежде всего безразличием к успехам в жизни. Яборолся с миром не как человек, который хочет и может победить и покорить себе, а как человек, которому мир чужд и от власти которого он хочет освободить себя.

Я лишен изобразительного художественного дара. В моей выразительности есть бедность, бедность словесная и бедность образов. Я бы не мог написать романа, хотя у меня есть свойства, необходимые беллетристу. Я полон тем для романов, и в моей восприимчивости (не изобразительности) есть элемент художественный. Я прежде всего должен признать в себе очень большую силу воображения. Воображение играло огромную роль в моей жизни и часто несчастную для меня роль. В воображении я переживал несчастье и страдал с большей остротой, чем в действительности. Я находил в себе духовные силы пережить смерть людей, но совершенно изнемогал от ожидания этой смерти в воображении. Когда я читал *Mémoires d'outre tombe** Шатобриана, то меня поразила одна черта сходства с ним, несмотря на огромное различие в других отношениях. Как у Шатобриана, у меня очень сильное воображение, гипертрофия воображения и именно вследствие этого невозможность удовлетворяться какой-либо действительностью и реальностью. Но сила воображения, конечно, не связана у меня с даром художественной изобразительности, как у Шатобриана. Отношение к женщинам определялось у Шатобриана именно силой воображения, не соответствующего

действительности. Меланхолия сопровождала всю жизнь Шатобриана, несмотря на исключительный успех, славу, блеск его жизни. Он ни от чего не мог испытать удовлетворения. Я тоже почти ни от чего не могу испытать удовлетворения и именно вследствие силы воображения. Подобно Шатобриану, я ухожу из каждого мгновения жизни. Каждое мгновение мне кажется устаревшим и не удовлетворяющим. О Ницше еще было сказано родственное мне. У Ницше была огромная потребность в энтузиазме, в экстазе, при брезгливом отворачивании к действительной жизни. Это мне очень близко. У меня есть потребность в энтузиазме, и я испытывал в жизни энтузиазм. У меня были творческие экстазы. Но брезгливое отношение к жизни, демон трезвости, малая способность к эротической идеализации действительности подкашивали мой энтузиазм. У меня не было романтического отношения к действительности, наоборот, было очень реалистическое, у меня было романтическое отношение к мечте, противоположной действительности. Мне еще близко то, что сказал о себе вообще не близкий мне Морис Баррес: «*Mon évolution ne fut jamais une course vers quelque chose, mais une fuite vers ailleurs*»*. Я всегда чувствовал себя далеким от того, что называют «жизнью». Я, в сущности, не любил так называемой «жизни», в молодости еще меньше, чем теперь. Впрочем, не точно было бы сказать, что я не люблю жизни. Вернее было бы сказать, что я люблю не жизнь, а экстаз жизни, когда она выходит за свои пределы. И тут я вижу в себе страшное противоречие. Я не был человеком с пониженным жизненным инстинктом, у меня был сильный жизненный инстинкт, была напряженность жизненной силы, иногда переливающей через край. Думаю, что моя нелюбовь к так называемой «жизни» имеет не физиологические, а духовные причины, даже не душевные, а именно духовные. У меня был довольно сильный организм, но было отталкивание от физиологических функций организма, брезгливость ко всему, связанному с плотью мира, с материей. Я люблю лишь формы плоти. Я никогда не любил рассказов об эмоциональной жизни людей, связанных с ролью любви; для меня всегда было в этом что-то неприятное, мне всегда казалось, что это меня не касается, у меня не было интереса к этому, даже когда речь шла о близких людях. Еще большее отталкивание вызывало во мне все связанное с человеческим самолюбием и честолюбием, с борьбой за преобладание. Я старался не слушать, когда говорили о конкуренции между людьми. Я чувствовал облегчение, когда речь переходила в сферу идей и мысли. Но половая любовь и борьба за преобладание и могущество наполняют то, что называют «жизнью». Мне часто казалось, что я, в сущности, в «жизни» не участвую, слышу о ней издали и лишь оцарапан ею. И при этом я ко многому в жизни имел отношение и на меня рассчитывали в борьбе, происходившей в жизни. По-настоящему жил я в другом плане. Мне как бы естественно присуще эсхатологическое чувство. Я не любил «жизни» прежде и больше «смысла», я «смысл» любил больше жизни, «дух» любил больше мира. Было бы сомнением и ложью сказать, что я стоял выше соблазнов «жизни», я, наверное, был им подвержен, как и все люди, но духовно не любил их. Для меня не ставилась проблема «плоти» как, например, у Мережковского и других, для меня ставилась проблема свободы. Я не мог мыслить так, что «плоть» греховна или «плоть» свята, я мог мыслить лишь о том, есть ли «плоть» отрицание свободы и насилие или нет. Моя изначальная, ранняя любовь к философии и к философии метафизической связана с моим отталкиванием от «жизни» как насилующей и уродливой обыденности. Мне доставляло мало удовлетворения переживание самой жизни, за исключением творчества, больше наслаждения я испытывал от воспоминания о жизни или мечты о жизни. И самым большим моим грехом, вероятно, было то, что я не хотел просветленно нести тяготу этой обыденности, то есть «мира», и не достиг в этом мудрости. Но философия моя была, как теперь говорят, экзистенциальна, она выражала бегство моего духа, она была близка к жизни, жизни без кавычек. Еще об отношении к тому, что называют «жизнью», и об аскезе. Физиологические потребности никогда не казались мне безотлагательными, все мне представлялось зависящим от направленности сознания,

от установки духа. Близкие даже иногда говорили, что у меня есть аскетические наклонности. Это неверно, мне, в сущности, чужд аскетизм. Я был с детства избалован, нуждался в комфорте. Но я никогда не мог понять, когда говорили, что очень трудно воздержание и аскеза. Мне это казалось выдумкой, ложным направлением сознания. Когда мне кто-нибудь говорил, что воздержание от мясной пищи дается трудной борьбой, то мне это было мало понятно, потому что у меня всегда было отвращение к мясной пище, и я должен был себя пересиливать, чтобы есть мясо. Никакой заслуги в этом я не вижу. Труднее всего мне было выносить плохой запах. Я никогда не знал усталости, мог спорить целую ночь, мог бегать с необыкновенной быстротой. Сейчас знаю усталость от возраста и болезней. Болел я часто и в прошлом, но у меня находили почти атлетическое сложение. Мне всегда казалось неверным и выдуманным, что дух должен бороться с плотью (соблазнами плоти). Дух должен бороться с духом же (с соблазнами духа, которые выражаются и в плоти). Но мой дух бывал ложно направленным. У каждого человека кроме позитива есть и свой негатив. Моим негативом был Ставрогин. Меня часто в молодости называли Ставрогиным, и соблазн был в том, что это мне даже нравилось (например, «аристократ в революции обаятелен», слишком яркий цвет лица, слишком черные волосы, лицо, подходящее на маску). Во мне было что-то ставрогинское, но я преодолел это в себе. Впоследствии я написал статью о Ставрогине, в которой отразилось мое интимное отношение к его образу. Статья вызвала негодование.

Очень поверхностно и наивно удивление перед противоречиями человека. Человек есть существо противоречивое. Это глубже в человеке, чем кажущееся отсутствие противоречий. Я усматриваю в себе целый ряд сплетающихся противоречий. Таково, например, сочетание гордости и смирения. Я всегда считал себя существом многопланнным и многоэтажным. Меня всегда удивляли, а иногда и смешили отзвучия обо мне. Нет ничего мне более чуждого, чем гордая манера себя держать. Я, наоборот, никогда не хотел иметь вид человека, возвышающегося над людьми, с которыми приходил в соприкосновение. У меня была даже потребность привести себя во внешнее соответствие со средними людьми. Поэтому я часто вел самые незначительные разговоры. Я любил стусевываться. Мне было противно давать понять о своей значительности и умственном превосходстве. Это отчасти объясняется моей крайней скрытностью, охранением своего внутреннего мира и слабой способностью к общению. За этим внешним пластом скрывалась, вероятно, гордость, но гордость, которой я не хотел обнаружить. Я никогда не хотел гордиться перед людьми. Когда уже под старость меня иногда рассматривали как знаменитость, меня это мало радовало и очень стесняло и почти шокировало. Меня всегда соблазняло инкогнито. Если гордость была в более глубоком пласте, чем мое внешнее отношение к людям, то в еще большей глубине было что-то похожее на смирение, которое я совсем не склонен рассматривать как свою добродетель. Это скорее естественное свойство, чем духовное достижение. У меня вообще мало достижений. Я думаю о себе, что я бунтарь, но человек смиренный. Анализируя себя, я по совести должен сказать, что принадлежу к мало самолюбивым людям. Я почти никогда не обижался. Иногда пробовал обидеться, но мне это мало удавалось. Состояние ободранного самолюбия мне было мало понятно, и меня очень отталкивало это состояние в людях. Во мне вообще мало подпольности, хотя это совсем не значит, что у меня мало плохого. Думаю, что много плохого. Но я совсем не принадлежу к типу людей, находящихся в постоянном конфликте с собой и рефлектирующих. В своих писаниях я не выражаю обратного тому, что я на самом деле. Я могу себя скрывать, могу прямо выражать свои противоречия, но мне мало свойственна та компенсация, которой такое значение придает современная психопатология. То, что я мало самолюбив, я объясняю гордостью. Гордостью же можно объяснить, что я, в конце концов, мало честолюбив и славлюбив. Я никогда не искал известности и славы людской, которая так пленяла князя Андрея и самого Л. Толстого. Немалую роль тут играло и равнодушие. Я мало интересовался тем, что обо мне пишут, часто даже не читал статей

о себе. Мне даже казалось, что высокая оценка моей мысли меня стесняет и лишает свободы. Я боялся единомышленников и последователей как стеснения моей творческой свободы. Лучше всего я себя чувствовал при конфликте, тогда мысль моя достигала наибольшей остроты. Свобода духа мне казалась связанной с *incognito*. Когда в каком-нибудь собрании меня считали очень почтенным и известным, то я хотел провалиться сквозь землю. Это не есть настоящее смирение. Тут слишком много от гордости, равнодушия, изолированности, чуждости всему, жизни в мечте.

Есть еще одно противоречие, которое я остро в себе сознавал. Я всегда был человеком чрезвычайной чувствительности, я на все вибрировал. Всякое страдание, даже внешне мне мало заметное, даже людей совсем мне не близких, я переживал болезненно. Я замечал малейшие оттенки в изменении настроений. И вместе с тем эта гиперчувствительность соединялась во мне с коренной суховатостью моей природы. Моя чувствительность сухая. Многие замечали эту мою душевную сухость. Во мне мало влаги. Пейзаж моей души иногда представляется мне безводной пустыней с голыми скалами, иногда же дремучим лесом. Я всегда очень любил сады, любил зелень. Но во мне самом нет сада. Высшие подъемы моей жизни связаны с сухим огнем. Стихия огня мне наиболее близка. Более чужды стихия воды и земли. Это делало мою жизнь мало уютной, мало радостной. Но я люблю уют. Я никогда не мог испытывать мления и не любил этого состояния. Я не принадлежал к так называемым «душевному» людям. Во мне слабо выражена, задавлена лирическая стихия. Я всегда был очень восприимчив к трагическому в жизни. Это связано с чувствительностью к страданию. Я человек драматической стихии. Более духовный, чем душевный человек. С этим связана сухость. Я всегда чувствовал негармоничность в отношениях моего духа и душевных оболочек. Дух был у меня сильнее души. В эмоциональной жизни души была дисгармония, часто слабость. Дух был здоров, душа же больная. Самая сухость души была болезнью. Я не замечал в себе никакого расстройств мысли и раздвоения воли, но замечал расстройство эмоциональное. Как будто бы оболочки души не были в порядке. Было несоответствие между силой духа и сравнительной слабостью душевных оболочек. Независимость духа я всегда умел отстаивать. Но ничего более мучительного для меня не было, чем мои эмоциональные отношения с людьми. Расстройство эмоциональной жизни выражалось уже в мой гневливости. У меня были не только внешние припадки гнева, но я иногда горел от гнева, оставаясь один в комнате и в воображении представляя себе врага. Я говорил уже, что не любил военных, меня отталкивало все, связанное с войной. У меня было отвращение к насилию. Но характер у меня воинственный, и инстинктивно я склонен действовать силой оружия. В прошлом я даже всегда носил револьвер. Я чувствую сходство с Л. Толстым, отвращение к насилию, пассивизм и склонность действовать насилием, воинственность. Мне легко было выражать свою эмоциональную жизнь лишь в отношении к животным, на них изливал я весь запас своей нежности. Моя исключительная любовь к животным может быть с этим связана. Эта любовь человека, который имеет потребность любви, но с трудом может ее выражать в отношении к людям. Это обратная сторона одиночества. У меня есть страстная любовь к собакам, к котам, к птицам, к лошадям, ослам, козлам, слонам. Более всего, конечно, к собакам и кошкам, с которыми у меня была интимная близость. Я бы хотел в вечной жизни быть с животными, особенно с любимыми. У нас было две собаки, сначала Лилин мопс Томка, потом скайтерьер Шулька, к которым я был очень привязан. Я почти никогда не плачу, но плакал, когда скончался Томка, уже глубоким стариком, и когда расставался с Шулькой при моей высылке из советской России. Но, может быть, более всего я был привязан к моему коту Мури, красавцу, очень умному, настоящему шармёру. У меня была страшная тоска, когда он был болен. Любовь к животным характерна для семьи моих родителей и для нынешней нашей семьи.

Я говорил уже, что во мне сочетались мечтательность и реализм. Тут, может быть, и нет противоречия, потому что мечта относится к одному, реализм же к совсем другому. Идеализация действительности, иллюзии, склонность очаровываться, а потом разочаровываться противны моей натуре. То, что называют романтическим отношением к действительности, мне совершенно чуждо. Если меня и можно было бы назвать романтиком, помня об условности этого термина, то совсем в особом смысле. Я мало разочаровывался, потому что мало очаровывался. Я не любил возвышенного вранья, возвышенно-нереального восприятия действительности. Верно было бы сказать, что у меня есть напряженная устремленность к трансцендентному, к переходу за грани этого мира. Обратной стороной этой направленности моего существа является сознание неподлинности, неокончателности, падшести этого эмпирического мира. Это во мне глубже всех теорий, всех философских направлений. Я не делаю себе никаких иллюзий о действительности, но считаю действительность в значительной степени иллюзорной. Мне этот мир не только чужд, но и представляется не настоящим, в нем объективируется моя слабость и ложное направление моего сознания. С этим вопросом связан изначальный во мне элемент. Мне не импонирует массивность истории, массивность материального мира. «Священное» в истории, иерархические чины в обществе меня лишь отталкивают. Но вот что еще важнее. Я никогда не мог примириться ни с чем преходящим, временным, тленным, существующим лишь на короткий миг. Я никогда не мог ловить счастливых мгновений жизни и не мог их испытать. Я не мог примириться с тем, что это мгновение быстро сменяется другим мгновением. С необычайной остротой и силой я пережил страшную болезнь времени. Расставание мне было мучительно, как умирание, расставание не только с людьми, но и с вещами и местами. Я, очевидно, принадлежу к религиозному типу, который определяется жаждой вечности. «Я люблю тебя, о, вечность», – говорит Заратустра. И я всю жизнь это говорил себе. Ничего нельзя любить, кроме вечности, и нельзя любить никакой любовью, кроме вечной любви. Если нет вечности, то ничего нет. Мгновение полноценно, лишь если оно приобщено к вечности, если оно есть выход из времени, если оно, по выражению Кирхегардта, атом вечности, а не времени. Моя болезнь заключалась в том, что я упреждал события во времени. Я с необычайной остротой переживал события, которые во времени еще не произошли, особенно события тяжелые. Это, конечно, не евангельская и не мудрая настроенность. Мне хотелось, чтобы времени больше не было, не было будущего, а была лишь вечность. И вместе с тем я человек, устремленный к будущему. Проблему времени я считаю основной проблемой философии, особенно философии экзистенциальной. Странно, что этот мир не казался мне беспредельным, бесконечным, наоборот, он мне казался ограниченным по сравнению с беспредельностью и бесконечностью, раскрывавшейся во мне. Мир, раскрывавшийся во мне, более настоящий мир, чем мир экстериоризированный. Меня часто упрекали в том, что я не люблю достижения, реализации, не люблю успеха и победы, и называли это ложным романтизмом. Это требует объяснения. У меня действительно есть несимпатия к победителям и успевающим. Мне это представляется приспособлением к миру, лежащему во зле. Я действительно не верю, чтобы в этом мировом плане, в мире объективированном и отчужденном возможна была совершенная реализация. Жизнь в этом мире поражена глубоким трагизмом. Это причина моей нелюбви к классицизму, который создает иллюзию совершенства в конечном. Совершенство достижимо лишь в бесконечном. Стремление к бесконечному и вечному не должно быть пресечено иллюзией конечного совершенства. Всякое достижение формы лишь относительно, форма не может претендовать на окончательность. Всякая реализация здесь есть лишь символ иного, устремленности к вечности и бесконечности. В этом источник духовной революционности моей мысли. Но это революционность трансцендентного, а не имманентного. Впротиво-положность господствующей точке зрения я думаю, что дух революционен, материя же консервативна и реакционна. Но в обыкновенных революциях мир духа ущемлен материей, и она

искажает его достижения. Дух хочет вечности. Материя же знает лишь временное. Настоящее достижение есть достижение вечности.

Вспоминая себя мальчиком и юношей, я убеждаюсь, какое огромное значение для меня имели Достоевский и Л. Толстой. Я всегда чувствовал себя очень связанным с героями романов Достоевского и Л. Толстого, с Иваном Карамазовым, Версиловым, Ставрогиним, князем Андреем и дальше с тем типом, который Достоевский назвал «скитальцем земли русской», с Чацким, Евгением Онегиным, Печориным и другими. В этом, быть может, была моя самая глубокая связь с Россией, с русской судьбой. Также чувствовал я себя связанным с реальными людьми русской земли: с Чаадаевым, с некоторыми славянофилами, с Герценом, даже с Бакуниным и русскими нигилистами, с самим Л. Толстым, с Вл. Соловьевым. Как и многие из этих людей, я вышел из дворянской среды и порвал с ней. Разрыв с окружающей средой, выход из мира аристократического в мир революционный – основной факт моей биографии, не только внешней, но и внутренней. Это входит в мою борьбу за право свободной и творческой мысли для себя. Я боролся за это с яростью и разрывал со всем, что мне мешало осуществлять мою задачу. Сознание своего призвания было во мне очень сильным. У меня было достаточно силы воли для осуществления своей задачи, и я мог быть свиреп в борьбе за ее осуществление. Но я не был человеком выдержанного стиля, я сохранил неопределенные противоречия, я не мог задержаться до конца на чем-либо ином. Я больше всего любил философию, но не отдался исключительно философии; я не любил «жизни» и много сил отдал «жизни», больше других философов; я не любил социальной стороны жизни и всегда в нее вмешивался; я имел аскетические вкусы и не шел аскетическим путем; был исключительно жалостлив и мало делал, чтобы ее реализовать. Я всегда чувствовал действие иррациональных сил в своей жизни. Я никогда не действовал по рассуждению, в моих действиях всегда было слишком много импульсивного. Я сознавал в себе большую силу духа, большую независимость и свободу от окружающего мира и в обыденной жизни часто бывал раздавлен беспорядочным напором ощущений и эмоций. Я был бойцом по темпераменту, но свою борьбу не доводил до конца, борьба сменялась жаждой философского созерцания. Я часто думал, что не реализовал всех своих возможностей и не был до конца последователен, потому что во мне было непреодолимое барство, барство метафизическое, как однажды было обо мне сказано. Если бы я был демократического происхождения, вероятно, был бы менее сложен и во мне не было бы некоторых черт, которые я ценю, но я больше сделал бы и дела мои были бы более сосредоточенными и последовательными. Если во мне был эгоизм, то это был скорее эгоизм умственного творчества, чем эгоизм наслаждений жизни, к которым я никогда не стремился. Я никогда не искал счастья. Во имя своего творчества я мог быть жестоким. В умственном творчестве есть этот элемент. *Intellectuel*, мыслитель, в известном смысле урод. Во мне всегда происходила борьба между охранением своего творчества и жалостью к людям. Нужно отличать «я» с его эгоистичностью от личности. «Я» есть первичная данность, и оно может сделаться ненавистным, как говорил Паскаль. «Личность» же есть качественное достижение. В моем «я» есть многое не от меня. В этом сложность и запутанность моей судьбы.

Глава II

Одиночество. Тоска. Свобода. Бунтарство. Жалость. Сомнения и борения духа. Размышление об Эросе

Одиночество

Тема одиночества – основная. Обратная сторона ее есть тема общения. Чуждость и общность – вот главное в человеческом существовании, вокруг этого вращается и вся религиозная жизнь человека. Как преодолеть чуждость и далекость? Религия есть не что иное, как достижение близости, родственности. Я никогда не чувствовал себя частью объективного мира и занимающим в нем какое-то место. Я переживал ядро моего «я» вне предстоящего мне объективного мира. Лишь на периферии я соприкасался с этим миром. Неукорененность в мире, который впоследствии в результате философской мысли я назвал объективированным, есть глубочайшая основа моего мироощущения. С детства я жил в мире, непохожем на окружающий, и я лишь притворялся, что участвую в жизни этого окружающего мира. Я защищался от мира, охраняя свою свободу. Я выразитель восстания личности против рода. И потому мне чуждо стремление к величию и славе, к силе и победе. С детства я много читал романов и драм, меньше стихов, и это лишь укрепило мое чувство пребывания в своем особом мире. Герои великих литературных произведений казались мне более реальными, чем окружающие люди. В детстве у меня была кукла, изображавшая офицера. Я наделил эту куклу качествами, которые мне нравились. Это мифотворческий процесс. Я очень рано в детстве читал «Войну и мир», и незаметно кукла, которая называлась Андрей, перешла в князя Андрея Болконского. Получилась созданная мною биография существа, которое представлялось мне очень реальным, во всяком случае более реальным, чем мои товарищи по корпусу. Жизнь в своем особом мире не была исключительно жизнью в воображении и фантазии. Прежде всего, я убежден в том, что воображение есть один из путей прорыва из этого мира в мир иной. Вы вызываете в себе образ иного мира. Но у меня совсем не было ослабленного чувства реальности вообще и реальности этой нелюбимой действительности. Я испытывал не столько нереальность, сколько чуждость объективного мира. Я не жил в состоянии иллюзорности. Если мое мироощущение пожелают назвать романтизмом, то это романтизм не пассивный, а активный, не мягко-мечтательный, а жестко-агрессивный. Я даже слишком трезво-реалистически воспринимал окружающий мир, но он был мне далеким, неслиянным со мной. Впоследствии, сознательно философски я думал, что происходит отчуждение, экстерииоризация человеческой природы, и в этом видел источник рабства. Но я как раз всегда сопротивлялся отчуждению и экстерииоризации, я хотел оставаться в своем мире, а не выбрасывать его во мне. Я чувствовал себя существом, не произошедшим из «мира сего» и не приспособленным к «миру сему». Я не думал, что я лучше других людей, вкорененных в мир, иногда думал, что я хуже их. Я мучительно чувствовал чуждость всякой среды, всякой группировки, всякого направления, всякой партии. Я никогда не соглашался быть причисленным к какой-либо категории. Я не чувствовал себя входящим в средне-общее состояние человеческой жизни. Это чувство чуждости, иногда причинявшее мне настоящее страдание, вызывало во мне всякое собрание людей, всякое событие жизни. Во мне самом мне многое чуждо. Я, в сущности, отсутствовал даже тогда, когда бывал активен в жизни. Но чуждость никогда не была у меня равнодушной, у меня даже слишком мало равнодушия. Я скорее активный, чем пассивный человек. Но очень мало социализированный человек, по чувству жизни даже человек асоциальный. По характеру я феодал, сидящий в своем замке с поднятым мостом

и отстреливающийся. Но вместе с тем я человек социабельный, люблю общество людей и много общался с людьми, много участвовал в социальных действиях. Мое мышление не уединенное, общение, столкновение с людьми возбуждало и обостряло мою мысль. Я всегда был спорщиком. Тут противоречие, которое вызывало ложное мнение людей обо мне. Я постоянно слышал о себе отзывы, которые поражали меня своей неверностью. Внешне я слишком часто бывал не таким, каким был на самом деле. Я носил маску, это была защита своего мира. Не знаю, чувствовал ли кто-нибудь, когда я очень активно участвовал в собрании людей, до какой степени я далек, до какой степени чужд. Моя крайняя скрытность и сдержанность порождали ошибочное мнение обо мне. Я наиболее чувствовал одиночество именно в обществе, в общении с людьми. Одиноким люди обыкновенно бывают исключительно созерцательными и не социальными. Но я соединял одиночество с социальностью (это не следует смешивать с социализированностью природы). Мой случай я считаю самым тяжелым, это есть сугубое одиночество. Вопросы социального порядка вызывали во мне страсти и вызывают сейчас. И вместе с тем всякий социальный порядок мне чужд и далек. В марксистских кружках моей молодости я бывал очень активен, читал доклады, спорил, вел пропаганду. Но я всегда приходил как бы из другого мира и уходил в другой мир. «Я никогда не достигал в реальности того, что было в глубине меня». Мне была чужда мировая среда, и я пытался образовать родственную среду, но мало успевал в этом. Во мне нет ничего от «столпов общества», от солидных людей, от охранителей основ, хотя бы либеральных или социалистических.

Есть два основоположных типа людей – тип, находящийся в гармоническом соотношении с мировой средой, и тип, находящийся в дисгармоническом соотношении. Я принадлежу ко второму типу. Я всегда чувствовал мучительную дисгармонию между «я» и «не-я», свою коренную неприспособленность. Вследствие моей скрытности и способности иметь внешний вид, не соответствующий тому, что было внутри меня, обо мне в большинстве случаев слагалось неверное мнение и тогда, когда оно было благоприятным, и тогда, когда оно было неблагоприятным. В моей молодости благорасположенные ко мне люди меня называли «любимец женщин и богов». Это может быть очень лестно, но неверно выражало мой тип. Это было обозначением легкого и счастливого типа, в то время как я был трудный тип и переживал жизнь скорее мучительно. Острое переживание одиночества и тоски не делает человека счастливым. Одиночество связано с неприятием мировой данности. Это неприятие, это противление было, наверное, моим первым метафизическим криком при появлении на свет. Когда пробудилось мое сознание, я сознал глубокое отталкивание от обыденности. Но жизнь мира, жизнь человека в значительной своей части это обыденность, то, что Гейдеггер называет *das Man*. Меня отталкивал всякий человеческий быт, и я стремился к прорыву за обыденный мир. Сравнительно слабое развитие во мне самолюбия и честолюбия, вероятно, объясняется этим моим сознанием чуждости мира и невозможности занять в нем твердое положение. Во мне всегда было равнодушие ко многому, хотя я не равнодушный человек. Оценки людей могли оцарапать лишь поверхностные слои моего существа, лишь оболочки души, не задевая ядра. Меня любили отдельные люди, иногда даже восторгались мной, но мне всегда казалось, что меня не любило «общественное мнение», не любило светское общество, потом не любили марксисты, не любили широкие круги русской интеллигенции, не любили политические деятели, не любили представители официальной академической философии и науки, не любили литературные круги, не любили церковные круги. Я всегда был неспособен к приспособлению и коллаборации. Я постоянно был в оппозиции и конфликте. Я восставал против дворянского общества, против революционной интеллигенции, против литературного мира, против православной среды, против коммунизма, против эмиграции, против французского общества. Меня всегда больше любили женщины, чем мужчины. Но эта их любовь омрачила мою молодость. Я слишком отстаивал свою судьбу.

Я всегда обманывал все ожидания. Также обманывал и ожидания всех идейных направлений, которые рассчитывали, что я буду их человеком. Я всегда был ничьим человеком, был лишь своим собственным человеком, человеком своей идеи, своего призвания, своего искания истины. И это всегда предполагает разрыв с объективным миром. Тут была и дурная сторона. Это означало слабую способность к отдаче себя. Я никогда не чувствовал себя кому-либо и кому-либо в мире вполне принадлежащим. Я во всем участвовал как бы издали, как посторонний, ни с чем не сливался. Я никогда не чувствовал восторга и экстаза слияния, ни религиозного, ни национального, ни социального, ни эротического, но много раз испытывал экстаз творчества, часто испытывал экстаз разрыва и восстания. Я совсем не поддаюсь коллективной заразе, хотя бы хорошей. Мне совсем неведомо слияние с коллективом. В экстаз меня приводит не бытие, а свобода. Это определяет весь тип моего философского мирозерцания. Но я совсем не солипсист, я направлен на иное и иных и очень чувствую реальность. Я постоянно трансцендирую себя. Меня притягивает всегда и во всем трансцендентное, другое, выходящее за грани и пределы, заключающее в себе тайну. Я совсем не погружен исключительно в себя и не занят анализом самого себя. Но ничто не преодолевает моего одиночества. Это одиночество мне очень мучительно. Иногда мне удавалось его преодолеть в мысли. Иногда же одиночество радовало, как возвращение из чуждого мира в свой родной мир. Этот родной мир был не я сам, но он был во мне. То, о чем я говорю, не легко сделать понятным. Ведь и я сам себе бываю чуждым, постылым, haïssable, но во мне самом есть то, что ближе мне, чем я сам. Это самая таинственная сторона жизни. К ней прикасались блаженный Августин, Паскаль.

У меня с детства было сильное чувство призвания. Я никогда не знал рефлексии о том, что мне в жизни избрать и каким путем идти. Еще мальчиком я чувствовал себя призванным к философии. Под философским призванием я понимал совсем не то, что я специализируюсь на какой-то дисциплине знания, напишу диссертацию, стану профессором. У меня вообще никогда не было перспективы какой-либо жизненной карьеры и было отталкивание от всего академического. Я не любил сословия ученых, не переносил школьности, считал предрассудком условную ученость. Я так же плохо представлял себя в роли профессора и академика, как и в роли офицера и чиновника или отца семейства, вообще в какой бы то ни было роли в жизни. Когда я осознал себя призванным философом, то я этим осознал себя человеком, который посвятит себя исканию истины и раскрытию смысла жизни. Философские книги я начал читать до неправдоподобия рано. Я был мальчиком очень раннего развития, хотя и мало способным к регулярному учению. Я вообще всю жизнь был нерегулярным человеком. Я читал Шопенгауера, Канта и Гегеля, когда мне было четырнадцать лет. Я нашел в библиотеке отца «Критику чистого разума» Канта и «Философию духа» Гегеля (третья часть «Энциклопедии»). Все это способствовало образованию во мне своего субъективного мира, который я противопоставлял миру объективному. Иногда мне казалось, что я никогда не вступлю в «объективный» мир. Каждый человек имеет свой особый внутренний мир. И для одного человека мир совсем иной, чем для другого, иным представляется. Но я затрудняюсь выразить всю напряженность своего чувства «я» и своего мира в этом «я», не нахожу для этого слов. Мир «не-я» всегда казался мне менее интересным. Я постигал мир «не-я», приобщался к нему, лишь открывая его как внутреннюю составную часть моего мира «я». Я, в сущности, всегда мог понять Канта или Гегеля, лишь раскрыв в самом себе тот же мир мысли, что и у Канта или Гегеля. Я ничего не мог узнать, погружаясь в объект, я узнаю все, лишь погружаясь в субъект. Может быть, именно вследствие этих моих свойств мне всегда казалось, что меня плохо понимают, не понимают главного. Самое главное в себе я никогда не мог выразить. Это отчасти связано с моей скрытностью. Свои мысли я еще мог выражать, во всяком случае пытался выражать. Но чувства свои я никогда не умел выразить. Моя сухость, может быть, была самозащитой, охранением своего мира. Выражать свои чув-

ства мешала также стыдливость, именно стыдливость, а не застенчивость. Мне всегда было трудно интимное общение с другим человеком, труден был разговор вдвоем. Мне гораздо легче было говорить в обществе, среди множества людей. С глаза на глаз наиболее обнаруживалось мое одиночество, моя скрытность вступала в силу. Поэтому я всегда производил впечатление человека антилирического. Но внутренний, невыраженный лиризм у меня был, была даже крайняя чувствительность и жалостливость. От соприкосновения же с людьми я делался сух. А. Жид в своем Journal пишет, что он плохо выносил патетическое и проявление патетизма в других людях его охлаждало. Это в высшей степени я могу сказать про себя. Я плохо выношу выраженный патетизм чувств. Иногда мне казалось, что я ни в ком не нуждаюсь. Это, конечно, метафизически и морально неверно. Но психологически я это переживал. В действительности я нуждался в близких и бывал им многим обязан. Для моего отношения к миру «не-я», к социальной среде, к людям, встречающимся в жизни, характерно, что я никогда ничего не добивался в жизни, не искал успеха и процветания в каком бы то ни было отношении. Свое призвание я осуществил вне каких-либо преимуществ, которые может дать мир «не-я». И меня всегда удивляло, что я какие-либо преимущества получал. Я никогда не пошевелил пальцем для достижения чего-либо. В отношении к людям у меня была довольно большая личная терпимость, я не склонен был осуждать людей, но она соединялась с нетерпимостью. Я делался нетерпим, когда затрагивалась тема, с которой в данный момент связана была для меня борьба. Меня всегда беспокоило сознание, что недостаточна интериоризация, недостаточно развитие мира в себе, что необходима и экстериоризация, действие во вне. По терминологии Юнга я должен признать себя не только интервертированным, но и экстравертированным. Но вместе с тем я сознавал трагическую неудачу всякого действия во вне. Меня ничто не удовлетворяет, не удовлетворяет никакая написанная мной книга, никакое сказанное мной во вне слово. У меня была непреодолимая потребность осуществить свое призвание в мире, писать, отпечатлеть свою мысль в мире. Если бы я постоянно не реализовывал себя в писании, то, вероятно, у меня произошел бы разрыв кровеносных сосудов. Никакой рефлексии относительно творческого акта я никогда не испытывал. В творческом акте я никогда не думал о себе, не интересовался тем, как меня воспримут. Об этом речь еще впереди. Неверно поняли бы мою тему одиночества, если бы сделали заключение, что у меня не было близких людей, что я никого не любил и никому не обязан вечной благодарностью. Моя жизнь не протекла в одиночестве, и многими достижениями моей жизни я обязан не себе. Но этим не решалась для меня метафизическая тема одиночества. Внутренний трагизм моей жизни я никогда не мог и не хотел выразить. Поэтому я никогда не мог испытать счастья и искал выхода в эсхатологическом ожидании.

Тоска

Другая основная тема есть тема тоски. Всю жизнь меня сопровождала тоска. Это, впрочем, зависело от периодов жизни, иногда она достигала большей остроты и напряженности, иногда ослаблялась. Нужно делать различие между тоской и страхом и скукой. Тоска направлена к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира. Тоска обращена к трансцендентному, вместе с тем она означает неслиянность с трансцендентным, бездну между мной и трансцендентным. Тоска по трансцендентному, по иному, чем этот мир, по переходящему за границы этого мира. Но она говорит об одиночестве перед лицом трансцендентного. Это есть до последней остроты доведенный конфликт между моей жизнью в этом мире и трансцендентным. Тоска может пробуждать богосознание, но она есть также переживание богооставленности. Она между трансцендентным и бездной небытия. Страх и скука направлены не на высший, а на низший мир. Страх говорит об опасности, грозящей мне от низшего мира. Скука говорит о пустоте и пошлости этого низ-

шего мира. Нет ничего безнадежнее и страшнее этой пустоты скуки. В тоске есть надежда, в скуке – безнадежность. Скука преодолевается лишь творчеством. Страх, всегда связанный с эмпирической опасностью, нужно отличать от ужаса, который связан не с эмпирической опасностью, а с трансцендентным, с тоской бытия и небытия. Кирхегардт отличает Angst от Furcht. Для него Angst есть первичный религиозный феномен. Тоска и ужас имеют родство. Но ужас гораздо острее, в ужасе есть что-то поражающее человека. Тоска мягче и тягучее. Очень сильное переживание ужаса может даже излечить от тоски. Когда же ужас переходит в тоску, то острая болезнь переходит в хроническую. Характерно для меня, что я мог переживать и тоску и ужас, но не мог выносить печали и всегда стремился как можно скорее от нее избавиться. Характерно, что я не мог выносить трогательного, я слишком сильно его переживал. Печаль душевна и связана с прошлым. Тургенев – художник печали по преимуществу. Достоевский – художник ужаса. Ужас связан с вечностью. Печаль лирична. Ужас драматичен. Это странно, но мне казалось, что я вынесу тоску, очень мне свойственную, вынесу и ужас, но от печали, если поддамся ей, я совершенно растаю и исчезну. Печаль очень связана для меня с чувством жалости, которой я всегда боялся вследствие власти, которую она может приобрести над моей душой. Поэтому я всегда делал заграждения против жалости и печали, как и против трогательного. Против тоски я не мог ничего поделать, но она не истребляла меня. С точки зрения старой и довольно неверной классификации темпераментов у меня сочетались два типа, которые обычно считают противоположными. Я сангвиник и меланхолик. Может быть, более бросались во мне в глаза черты сангвинического темперамента – мне легко бросалась кровь в голову, у меня была необыкновенно быстрая реакция на все, я был подвержен припадкам вспыльчивости. Но меланхолические черты темперамента были глубже. Я тосковал и был пессимистически настроен и тогда, когда внешне казался веселым, улыбался, проявлял большую живость. В моей натуре есть пессимистический элемент. Характерно, что во время моего духовного пробуждения в меня запала не Библия, а философия Шопенгауэра. Это имело длительные последствия. Мне трудно было принять благостность творения. Обратной стороной этого был культ человеческого творчества. Поразительно, что у меня бывала наиболее острая тоска в так называемые «счастливые» минуты жизни, если вообще можно говорить о счастливых минутах. Я всегда боялся счастливых, радостных минут. Я всегда в эти минуты с особенной остротой вспоминал о мучительности жизни. Я почти всегда испытывал тоску в великие праздники, вероятно потому, что ждал чудесного изменения обыденности, а его не было. Трудно было то, что я никогда не умел, как многие, идеализировать и поэтизировать такие состояния, как тоска, отчаяние, противоречия, сомнения, страдание. Я часто считал эти состояния уродливыми.

Есть тоска юности. В юности тоска у меня была сильнее, чем в зрелом возрасте. Это тоска от нереализованности преизбыточных жизненных сил и неуверенности, что удастся вполне реализовать эти силы. В юности есть надежды на то, что жизнь будет интересной, замечательной, богатой необыкновенными встречами и событиями. И есть всегда несоответствие между этой надеждой и настоящим, полным разочарований, страданий и печалей, настоящим, в котором жизнь ущерблена. Ошибочно думать, что тоска порождена недостатком сил, тоска порождена и избытком сил. В жизненной напряженности есть и момент тоски. Я думаю, что юность более тоскует, чем обычно думают. Но у разных людей это бывает разное. Мне были особенно свойственны периоды тоски. И я как раз испытывал тоску в моменты жизни, которые считаются радостными. Есть мучительный контраст между радостью данного мгновения и мучительностью, трагизмом жизни в целом. Тоска, в сущности, всегда есть тоска по вечности, невозможность примириться с временем. В обращенности к будущему есть не только надежда, но и тоска. Будущее всегда в конце концов приносит смерть, и это не может не вызывать тоски. Будущее враждебно вечности, как и прошлое. Но ничто не интересно, кроме вечности. Я часто испытывал жгучую тоску в чуд-

ный лунный вечер в прекрасном саду, в солнечный день в поле, полном колосьев, во встрече с прекрасным образом женщины, в зарождении любви. Эта счастливая обстановка вызывала чувство контраста с тьмой, уродством, тлением, которыми полна жизнь. У меня всегда была настоящая болезнь времени. Я всегда предвидел в воображении конец и не хотел приспособиться к процессу, который ведет к концу, отсюда мое нетерпение. Есть особая тоска, связанная с переживанием любви. Меня всегда удивляли люди, которые видели в этом напряженном подъеме жизни лишь радость и счастье. Эросу глубоко присущ элемент тоски. И эта тоска связана с отношением времени и вечности. Время есть тоска, неутоленность, смертоносность. Есть тоска пола. Пол не есть только потребность, требующая удовлетворения. Пол есть тоска, потому что на нем лежит печать падшести человека. Утоление тоски пола в условиях этого мира невозможно. Пол порождает иллюзии, которые превращают человека в средство нечеловеческого процесса. Дионисизм, который означает переизбыток жизни, порождает трагедию. Но стихия пола связана с дионисической стихией. Дионис и Гадес – один и тот же бог. Пол есть ущербность, расколотасть человека. Но через жизнь пола никогда по-настоящему не достигается целостность человека. Пол требует выхода человека из самого себя, выхода к другому. Но человек вновь возвращается к себе и тоскует. Человеку присуща тоска по цельности. Но жизнь пола настолько искажена, что она увеличивает расколотасть человека. Пол по своей природе не целомудрен, то есть не целостен. К целостности ведет лишь подлинная любовь. Но это одна из самых трагических проблем и об этом еще впереди.

Мне свойственно переживание тоски и в совсем другие мгновения, чем чудный лунный вечер. Я всегда почти испытываю тоску в сумерки летом на улице большого города, особенно в Париже и в Петербурге. Я вообще плохо выносил сумерки. Сумерки – переходное состояние между светом и тьмой, когда источник дневного света уже померк, но не наступило еще того иного света, который есть в ночи, или искусственного человеческого света, охраняющего человека от стихии тьмы, или света звездного. Именно сумерки обостряют тоску по вечности, по вечному свету. И в сумерках большого города наиболее обнаруживается зло человеческой жизни. Тоска ночи уже иная, чем тоска сумерек, она глубже и трансцендентнее. Я переживал очень острую тоску ночи, переживал ужас этой тоски. Это у меня со временем ослабело. В прошлом я не мог даже спать иначе, чем при искусственном освещении. Но я это преодолел. У меня бывали тяжелые сны, кошмары. Сны вообще для меня мучительны, хотя у меня иногда бывали и замечательные сны. Во время ночи я часто чувствовал присутствие кого-то постороннего. Это странное чувство у меня бывало и днем. Мы гуляем в деревне, в лесу или поле, нас четверо. Но я чувствую, что есть пятый, и не знаю, кто пятый, не могу досчитаться. Все это связано с тоской. Современная психопатология объясняет эти явления подсознательным. Но это мало объясняет и ничего не разрешает. Я твердо убежден, что в человеческой жизни есть трансцендентное, есть притяжение трансцендентного и действие трансцендентного. Я чувствовал погруженность в бессознательное лоно, в нижнюю бездну, но еще более чувствовал притяжение верхней бездны трансцендентного.

Тоска очень связана с отталкиванием от того, что люди называют «жизнью», не отдавая себе отчета в значении этого слова. В «жизни», в самой силе «жизни» есть безумная тоска. «Сера всякая теория и вечно зелено древо жизни». Мне иногда парадоксально хотелось сказать обратное. «Серо древо жизни и вечно зелена теория». Необходимо это объяснить, чтобы не вызвать негодования. Это говорю я, человек совершенно чуждый всякой схоластики, школьности, всякой высушенной теории, уж скорее Фауст, чем Вагнер. То, что называют «жизнью», часто есть лишь обыденность, состоящая из забот. Теория же есть творческое познание, возвышающееся над обыденностью. Теория по-гречески значит созерцание. Философия (вечно зеленая «теория») освобождена от тоски и скуки «жизни». Я стал философом, пленился «теорией», чтобы отрешиться от невыразимой тоски обыденной «жизни».

Философская мысль всегда освобождала меня от гнетущей тоски «жизни», от ее уродства. Я противопоставлял «бытию» «творчество». «Творчество» не есть «жизнь», творчество есть прорыв и взлет, оно возвышается над «жизнью» и устремлено за границу, за пределы, к трансцендентному. Тоска исходит от «жизни», от сумерек и мглы «жизни» и устремлена к трансцендентному. Творчество и есть движение к трансцендентному. Творчество вызывает образ иного, чем эта «жизнь». Слово «жизнь» я употребляю в кавычках. В мире творчества все интереснее, значительнее, оригинальнее, глубже, чем в действительной жизни, чем в истории или в мысли рефлексий и отражений. Во мне раскрывался мир более прекрасный, чем этот «объективный» мир, в котором преобладает уродство. Но это предполагает творческий подъем.

Свойственно ли мне переживание скуки, которая есть притяжение нижней бездны пустоты? Я почти никогда не скучал, мне всегда не хватало времени для дела моей жизни, для исполнения моего призвания. У меня не было пустого времени. Но многое, слишком многое мне было скучно. Я испытывал скуку от мирочувствия и мирозерцания большей части людей, от политики, от идеологии и практики национальной и государственной. Обыденность, повторяемость, подражание, однообразие, скованность, конечность жизни вызывают чувство скуки, притяжение к пустоте. Когда же наступает момент пассивности в отношении притяжения пустоты этого низшего мира, когда по слабости мир кажется пустым, плоским, лишенным измерения глубины, то скука делается дьявольским состоянием, предвосхищением адского небытия. Страдание является спасительным в отношении к этому состоянию, в нем есть глубина. Предел inferнальной скуки, когда человек говорит себе, что ничего нет. Возникновение тоски есть уже спасение. Есть люди, которые чувствуют себя весело в пустыне. Это и есть пошлость. Многие любят говорить, что они влюблены в жизнь. Я никогда не мог этого сказать, я говорил себе, что влюблен в творчество, в творческий экстаз. Конечность жизни вызывает тоскливое чувство. Интересен лишь человек, в котором есть прорыв в бесконечность. Я всегда бежал от конечности жизни. Такое отношение к жизни приводило к тому, что я не обладал искусством жить, не умел использовать жизни. Для «искусства жить» нужно сосредоточиться на конечном, погрузиться в него, нужно любить жить во времени. «Несчастье человека, – говорит Карлейль в Sartor resartus*, – происходит от его величия; от того, что в нем есть Бесконечное, от того, что ему не удастся окончательно похоронить себя в конечном». Этот «объективный» мир, эта «объективная» жизнь и есть погребение в конечном. Самое совершенное в конечном есть погребение. Поэтому «жизнь» есть как бы умирание бесконечного в конечном, вечного во временном. Во мне есть сильный метафизически-анархический элемент. Это есть бунт против власти конечного. Иначе это можно было бы назвать элементом апофатическим. И в обыденной, и в исторической жизни слишком многое казалось мне или незначительным, или возмущающим. Мне противны были все сакрализации конечного. Тоска может стать религиозной. Религиозная тоска по бессмертию и вечности, по бесконечной жизни, не похожей на эту конечную жизнь. Искусство было для меня всегда погружением в иной мир, чем этот обыденный мир, чем моя собственная постылая жизнь. Именно приобщение к непохожему на эту жизнь есть магия искусства. Постоянная тоска ослабляла мою активность в жизни. Я от слишком многого уходил, в то время как многое нужно было преображать. Я редко, слишком редко чувствовал себя счастливым. Мне иногда казалось, что жизнь была бы хороша и радостна, если бы исчезла причина того, что меня мучит сейчас. Но когда эта причина исчезала, сейчас же являлась новая. Я ни от чего не чувствовал полного удовлетворения, в глубине считая его греховным.

Свобода

Меня называют философом свободы. Какой-то черносотенный иерарх сказал про меня, что я «пленник свободы». И я действительно превыше всего возлюбил свободу. Я изошел от свободы, она моя родительница. Свобода для меня первичнее бытия. Своеобразие моего философского типа прежде всего в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу. В такой радикальной форме этого, кажется, не делал ни один философ. В свободе скрыта тайна мира. Бог захотел свободы, и отсюда произошла трагедия мира. Свобода в начале и свобода в конце. В сущности, я всю жизнь пишу философию свободы, стараясь ее усовершенствовать и дополнить. У меня есть основное убеждение, что Бог присутствует лишь в свободе и действует лишь через свободу. Лишь свобода должна быть сакрализована, все же ложные сакрализации, наполняющие историю, должны быть десакрализованы. Я сознаю себя прежде всего эмансипатором, и я сочувствую всякой эмансипации. Я и христианство понял и принял как эмансипацию. Я изначально любил свободу и мечтал о чуде свободы еще во втором классе кадетского корпуса. Я никогда не мог вынести никакой зависимости. И у меня была всегда очень большая внутренняя независимость. И всякий раз, когда я чувствовал хоть малейшие признаки зависимости от кого-либо и чего-либо, это вызывало во мне бурный протест и вражду. Я никогда не соглашался отказаться от свободы и даже урезать ее, ничего не соглашался купить ценой отказа от свободы. Я от многого мог отказаться в жизни, но не во имя долга или религиозных запретов, а исключительно во имя свободы и, может быть, еще во имя жалости. Я никогда не хотел связать себя и это, вероятно, ослабило мою активность, ограничивало возможности реализации. Но я всегда знал, что свобода порождает страдание, отказ же от свободы уменьшает страдание. Свобода не легка, как думают ее враги, клеветующие на нее, свобода трудна, она есть тяжелое бремя. И люди легко отказываются от свободы, чтобы облегчить себя. Эта тема особенно близка Достоевскому. Меня называли в молодости «вольный сын эфира». Это верно лишь в том, что я не сын земли, не рожден от массовой стихии, я произошел от свободы. Но если под шутливым выражением «вольный сын эфира» понимать легкость, отсутствие боли, то это неверно обо мне. Свобода с трудом доставалась и причиняла боль. «Меня свобода привела к распутью в час утра», – говорит один поэт. Все, что я утверждал, я утверждал после свободы и из свободы. Опыт свободы есть первичный опыт. Не свобода есть создание необходимости (Гегель), а необходимость есть создание свободы, известного направления свободы. Я не согласен принять никакой истины иначе, как от свободы и через свободу. Слово свобода я употребляю здесь не в школьном смысле «свобода воли», а в более глубоком, метафизическом смысле. Истина может принести мне освобождение, но эту истину я мог принять лишь через свободу. Поэтому есть две свободы. Об этом я много писал. Изначальность, производность моей свободы выражалась в том, что я мог принять «не-я», лишь сделав это «не-я» содержанием своего «я», введя его в свою свободу. Борьба за свободу, которую я вел всю жизнь, была самым положительным и ценным в моей жизни, но в ней была и отрицательная сторона – разрыв, отчужденность, неслиянность, даже вражда. Свобода могла сталкиваться с любовью. В противоположность распространенному мнению я всегда думал, что свобода аристократична, а не демократична. Огромная масса людей совсем не любит свободы и не ищет ее. Революции масс не любят свободы. Много я приобрел в своем духовном пути, в опыте своей жизни, но свобода для меня изначально, она не приобретена, она есть а priori моей жизни. Идея свободы для меня первичнее идеи совершенства, потому что нельзя принять принудительного, насильственного совершенства.

Все в человеческой жизни должно пройти через свободу, через испытание свободы, через отвержение соблазнов свободы. В этом, может быть, смысл грехопадения. Вспоминая

всю свою жизнь, начиная с первых ее шагов, я вижу, что никогда не знал никакого авторитета и никогда никакого авторитета не признавал. Я просто никогда не имел опыта переживания авторитета. Я не знал авторитета в семье, не знал авторитета в учебном заведении, не знал авторитета в моих занятиях философией и в особенности не знал авторитета в религиозной жизни. С детства я решил, что никогда не буду служить, так как никогда не соглашусь подчиниться никакому начальству. У меня даже никогда не было мысли сделаться профессором, потому что это все же предполагает существование начальства и авторитетов. Свою мысль я всегда воспринимал как впервые рожденную в свободе. И старую свою мысль я воспринимал как впервые рожденную, не как образовавшуюся во мне традицию мысли. Это, конечно, совсем не значит, что я не хотел учиться у других, у всех великих учителей мысли, и что не подвергался никаким влияниям, никому ни в чем не был обязан. Я постоянно питался мировой мыслью, получал умственные толчки, многим был обязан мыслителям и писателям, которых всю жизнь чтил, обязан людям, которым был близок. Но все проходило через мою свободу, входило в глубину моего «я» и из него принималось. Никакого умственного влияния я не мог воспринять иначе, чем получив санкцию от моей свободы. Поэтому я самый нетрадиционный человек на свете. Мне даже не нужно было разрывать с какими-либо авторитетами, я их не имел. Но были философы и писатели, которые особенно питали мою любовь к свободе духа, подтверждали ее и помогали ее развитию во мне. В этом отношении огромное значение для меня имела «Легенда о Великом Инквизиторе» и вообще Достоевский. Из философов же наибольшее значение имел Кант. Философия Канта есть философия свободы, хотя, может быть, недостаточно последовательно, не до конца развитая. Еще Ибсен имел для меня большое значение, хотя и позже. В Ибсене видел я необыкновенную волю к свободе. Все столкновения с людьми и направлениями происходили у меня из-за свободы. Борьбу за свободу я понимал прежде всего не как борьбу общественную, а как борьбу личности против власти общества.

Уже после окончания моей книги я прочел книгу Roger Secétain «Péguy, soldat de la vérité». Это интересная книга о Пеге. Поразило меня одно место о Пеге, которое могло бы быть сказано вполне обо мне. Привожу дословно.

«Nous sommes de ces singuliers libéraux ou libertaires qui n'admettent aucune autorité». Cette phrase de *Pour moi* ressortit à la psychologie, non à la doctrine. Quand Péguy dit cela en 1900, il ne le dit pas comme militant sociologue, il le dit comme homme Péguy, pour toute sa vie. L'anarchisme est sa tendresse secrète. Il n'est certes pas nihiliste ni destructeur. Il déteste la pente des facilités. Il est du côté positif, ascensionnel de l'anarchie. Mais sa passion majeure, sa force d'adhésion le collent au principe de liberté. L'insubordination de ce disciple paradoxal est de n'accepter de contrainte qu'intérieure et librement choisie. On a parlé, d'un parti Péguy: c'est un parti où il eût été seul. Je ne lui vois même pas de disciple dont il ne se fût bientôt séparé ou qu'il n'eût lui-même encouragé à rompre... Ce révolté, cet interdit, cet hérétique par instinct et orgueil est ainsi fait qu'il recherche l'autorité sans pouvoir endurer de tutelle. En tant que citoyen, il ne peut supporter l'Etat bourgeois (ni même l'Etat tout court). En tant que militant révolutionnaire, il ne peut supporter la férule de socialisme doctrinal et politicien. Et tant que penseur, il ne peut se soumettre à la métaphysique des sociologues du parti intellectuel... C'est son refus de toute tyrannie terrestre qui l'entraîne vers Dieu. A condition toutefois que ce Dieu soit lui aussi un libéral, un libertaire, presque un anarchiste: «Un salut qui ne serait pas libre, qui ne viendrait pas d'un homme libre ne nous dirait plus rien», dit le Dieu de Péguy dans les *Saints Innocents*». Я не вижу вообще в себе большого сходства с Пеге. Но это место мне так близко, словно обо мне написано.

Для меня характерно, что у меня не было того, что называют «обращением», и для меня невозможна потеря веры. У меня может быть восстание против низких и ложных идей о Боге во имя идеи более свободной и высокой. Я объясню это, когда буду говорить о Боге.

Я вел борьбу за свободу в детстве и юности и делал это иногда с гневом и яростью. Я говорил уже, что семья наша была очень мало авторитарна, и мне всегда удавалось отстоять мою независимость. С социальной средой, из которой я вышел, я порвал еще на грани отрочества и юности. Этот разрыв принял у меня такие формы, что я одно время предпочитал поддерживать отношения с евреями, по крайней мере, была гарантия, что они не дворяне и не родственники. Все, что не связано с происхождением по духу, вызывало во мне отталкивание. Все родовое противоположно свободе. Мое отталкивание от родовой жизни, от всего, связанного с рождающей стихией, вероятно, объясняется моей безумной любовью к свободе и к началу личности. Это метафизически наиболее мое. Род всегда представлялся мне врагом и поработителем личности. Род есть порядок необходимости, а не свободы. Поэтому борьба за свободу есть борьба против власти родового над человеком. Для моей философской мысли было еще очень существенно противоположение рождения и творчества. Свобода, личность, творчество лежат в основании моего мироощущения и мирозерцания. Но обостренная борьба за свободу у меня началась позже. Порвав с традиционным аристократическим миром и вступив в мир революционный, я начал борьбу за свободу в самом революционном мире, в революционной интеллигенции, в марксизме. Я очень рано понял, что революционная интеллигенция не любит по-настоящему свободы, что пафос ее в ином. Еще будучи марксистом, я увидел в марксизме элементы, которые должны привести к деспотизму и отрицанию свободы. Я на жизненном опыте пережил столкновение личности и социальной группы, личности и общества, личности и общественного мнения. И всегда стоял на стороне личности. Годы моей жизни были посвящены борьбе с интеллигентской общественностью, и я на это потерял даже слишком много сил. Это мешало мне целиком отдаваться философскому творчеству. Проблема отношений свободы и социализма очень остро мной переживалась, и в молодости у меня были минуты, когда я испытывал смертельную тоску перед лицом этой проблемы. Я считал лицемерными и лживыми аргументы либерализма и индивидуализма против социализма, считал фальшивой их защиту свободы. Но для меня было ясно, что социализм может принять разные обороты, может привести к освобождению, но может привести и к истреблению свободы, к тирании, к системе Великого Инквизитора. Предчувствия возможности большевизма у меня очень рано были, еще когда я вращался в марксистской среде. Тогда я уже боролся с тоталитаризмом во имя свободы мысли и творчества. Но борьбу за свободу мне приходилось вести во всякой идейной среде, во всяком направлении, с которым приходилось соприкасаться. Всякая идейная социальная группировка, всякий подбор по «вере» посягает на свободу, на независимость личности, на творчество. Когда мой духовный путь привел меня в близкое соприкосновение с миром православным, то я ощутил ту же тоску, которую ощущал в мире аристократическом и в мире революционном, увидел то же посягательство на свободу, ту же вражду к независимости личности и к творчеству. Но тут та же тема ставилась на большей глубине. В мире религиозном затрагивается самая глубина человеческой души. Мне пришлось еще вести ту же борьбу за свободу и за достоинство личности в коммунистической революции, и это привело к моей высылке из России. Наконец, в атмосфере эмигрантской стала остро та же проблема свободы. Я увидел, что эмиграция в преобладающей массе так же ненавидит и отрицает свободу, как и русский коммунизм. Но коммунизм имеет больше права на это. После мировой войны народилось поколение, которое возненавидело свободу и возлюбило авторитет и насилие. Я ничего нового в этом не видел. Я был так же одинок в своей аристократической любви к свободе и в своей оценке личного начала, как всю жизнь. Я не видел этой любви к свободе ни у господствующих слоев старого режима, ни в старой революционной интеллигенции, ни в историческом православии, ни у коммунистов и менее всего в новом поколении фашистов. Всякая группировка враждебна свободе. Скажу более радикально: всякое до сих пор бывшее организованное и организующееся общество враждебно свободе и склонно отрицать чело-

веческую личность. И это порождено ложной структурой сознания, ложным направлением сознания, ложной иерархией ценностей. В послевоенном, теперь нужно сказать довоенном, поколении нет ни одной оригинальной мысли, оно живет искажениями и отбросами мысли XIX века. Личность, сознавшая свою ценность и свою первородную свободу, остается одинокой перед обществом, перед массовыми процессами истории. Демократический век – век мещанства, и он неблагоприятен появлению сильных личностей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.